



МОСКВА

РУССКИЙ МИРЪ

2004

Глава III

В Каретном ряду (В Духовной семинарии — учебные годы 1870-1876)

Московская семинария уже неоднократно описывалась в разных мемуарах бывших ее питомцев. Так, время 40—50-х годов 19 столетия живо изображено в книге Н. П. Гилярова-Платонова «Из пережитого», конец 50-х годов — в воспоминаниях Ф. А. Гилярова, печатавшихся в «Русском архиве», и конец 90-х — начало 900-х годов — в брошюре врача С. М. Беляева под названием «В бурсе». Но 70-е годы, когда я учился в семинарии, жизнь семинарии еще не была описана, если не считать «Историю Московской дух<овной> семинарии» Н. И. Кедрова, вышедшую к 75-летнему юбилею семинарии и потому имеющую довольно сухой, казенно-официальный характер «отчета», в котором, понятно, умалчивалось об отрицательных сторонах жизни нашего рассадника духовного просвещения. Поэтому, я полагаю, нелишним будет пополнить серию описаний прошлого нашей семинарии моими личными воспоминаниями, далекими от стремления что-либо скрыть и прикрасить. Годы моей учебы семинарии по новому уставу, превратившему старые риторiku, философию и богословие в общеобразовательную четырехклассную школу с добавлением двух классов

специально богословских и вообще поставившему обучение в семинарии на новые рельсы.

Семинария помещалась в Каретном ряду, на Садовой, в огромном доме, принадлежавшем до 1844 г. известному герою 12-го года генералу Остерману-Толстому. В 17 веке здесь было владение родственников царя Михаила Федоровича бояр Стрешневых, от которых оно в 18 веке перешло в руки И. А. Остермана, женившегося на одной из дочерей Стрешнева, а от него — к его племяннику Толстому, присоединившему к своей фамилии и фамилию дяди, как продолжатель его рода. Когда я поступал в семинарию, она еще не была так велика, какую представляется теперь: только в 1874-м году к ней был пристроен огромный 3-этажный корпус позади, в самом саду, да потом в конце 80-х годов пристроен еще двухэтажный дом для библиотеки и столовой. Два дома в саду для преподавателей построены были один в середине 80-х (деревянный), а другой (каменный) в конце 90-х, но все же и в прежнем своем виде дом семинарии, 3-этажный, с 2-этажными флигелями по обеим сторонам и с тремя старыми домами по улице Божедомке, представлялся очень величественным и красивым, будучи построен по общему типу домов вельмож екатерининского времени (он выстроен в конце 80-х годов 18 века). Перед домом, находившимся в глубине двора, как и теперь, был расположен круглой формы сквер с деревьями, через который дорожка вела прямо к подъезду с двумя фонарями.

Ранним утром 1870 года в августе месяце двоюродный брат мой, студент-медик И. Н. Надеждин, сам окончивший семинарию, привел меня сюда на экзамен. Мы поднялись по широкой двухмаршевой лестнице во второй этаж, в одной из комнат которого заседала экзаменационная комиссия по приему воспитанников из духовных училищ*, и

* В Московскую семинарию поступали ученики из духовных училищ: Заиконоспасского, Донского, Андрониевского (упразднено после 1864 г.), Перервинского, Коломенского и

я тотчас же был подозван к одному из экзаменаторских столов, где довольно скоро ответил на заданные мне вопросы, и потом так же быстро отэкзаменовался и у других экзаменаторов. Экзамены сошли для меня, как вскоре выяснилось, вполне благополучно, и я был принят в первый класс семинарии в общем числе сотни поступивших со мною воспитанников училищ, которые все были разделены на два отделения, причем я попал во второе. Через несколько дней я, как сирота, был принят на казенное содержание и переселился в семинарию на постоянное житье.

Как я уже упомянул выше, семинария только второй год еще существовала по новому уставу, а к тому же и люди, которым было поручено вводить в жизнь этот устав, также были новые, молодые (за некоторыми, впрочем, исключениями), так что жизнь в семинарии, можно сказать, формировалась по-новому и во многом отличалась от той рутины, какую мы застали в духовном училище. Вместо мрачного и грозного монаха-смотрителя Дионисия я увидел здесь начальником молодого красивого священника, с мягким голосом, скромными манерами, внимательно относившегося ко всем заявлениям и просьбам учеников и их родителей. Молодой, красивый и умный инспектор А. И. Цветков также несколько не походил на расслабленного старичка инспектора Заиконоспасского училища А. А. Невского и своими энергичными действиями вдохновлял подведомых ему помощников инспектора и надзирателей, хотя между первыми при мне был уже один давний и слишком флегматический работник — бывший преподаватель сельского хозяйства С. А. Скворцов. Обращение с нами со стороны преподавателей было вполне корректное, и они даже при вызове ученика по списку прибавляли к его фамилии слово «господин», чем многие из нас очень гордились. На

Синодального. Прочие духовные училища были причислены к Вифанской духовной семинарии, находившейся близ Троицкой Лавры при Вифанском монастыре.

случай болезни ученика для него была всегда возможность пойти за советом в находившуюся на семинарском дворе больницу, где добрый старик доктор В. И. Рахманов принимал ласково заболевших и находившимся на излечении в больнице присылал даже иногда с своего стола печеные яблоки. В отношении питания в семинарии дело было поставлено гораздо лучше, чем в училище, хотя, за скудостью отпускаящихся на каждого казеннокоштного ученика средств (около 100 р. в год), ни чаю, ни белого хлеба не полагалось, и мы должны были приобретать то и другое на свои средства вполне безвозбранно — не так, как было в училище. Спальни содержались в чистоте, но в зимнее время к утру в них становилось уже холодновато, и вставать поэтому как-то не хотелось. От 6 до 7 мы одевались и умывались, а потом шли на молитву в находившуюся во втором этаже (она была двухсветная) церковь, после чего направлялись в столовую пить чай (столовая помещалась до 1874 года в левом от главного здания флигеле, а с этого года перенесена была в новое, пристроенное к нему здание). Около 9-ти часов начинались уроки, которых в первые годы моего пребывания в семинарии было только по три в день (потом только уже их стало по четыре); после уроков, примерно около часу дня, мы обедали, а затем часа три, до начала вечерних занятий по подготовке уроков к следующему дню, гуляли или в огромном семинарском саду, красовавшемся своими вековыми липами и кленами, или же по городу, уходя — кто в библиотеки для добывания книг, кто в баню, причем никаких «отпрашиваний» на выход за ворота семинарии не полагалось. На вечерних занятиях, или, как у нас их называли, на «местах», за порядком в классе наблюдали надзиратели, впрочем, имевшие дело только с воспитанниками первых трех классов, тогда как тишину в высших классах охраняли дежурные помощники инспектора и сам инспектор. Надзиратели, окончившие курс семинарии, охотно объясняли нам то, что представлялось нам в данном уроке непонятным, и указывали на «источники», какими можно было

воспользоваться для написания заданного сочинения. При этом никто из них никогда нас и пальцем не трогал и не позволял себе сказать что-либо обидное по нашему адресу, что раньше мы частенько слышали от своих воспитателей в училище. В 9 часов мы шли ужинать, а в половине 10-го на молитву, после чего отправлялись в спальню, чтобы завтра опять начать работу по тому же, однажды навсегда установленному расписанию.

На праздничные дни нас сначала безвозбранно увольняли в дома наших родственников, но потом, очевидно, желая заставить нас присутствовать неопустительно при богослужении, — которое увольняемые домой часто не удостоивали своим посещением, предпочитая этому благочестивому времяпрепровождению какое-либо более легкомысленное занятие, напр<имер>, чтение романов или прогулки по Москве, — начальство стало выдавать отпускные книжки только по окончании праздничной обедни и обеда... Пред обедней ректор обыкновенно объяснял нам Евангелие, которое должно было читаться за службой, чтобы мы потом сознательно воспринимали евангельское чтение. В церкви у нас было образовано два хора: один, так называвшийся правый клирос, состоял из отборных голосов и исполнял разные нотные пьесы (тут было немало бывших певчих синодального хора), расположившись на хорах семинарской церкви, а другой стоял внизу под хорами и пел стихиры на простые «гласы» или напевы, причем управлял один из преподавателей, любитель церковного пения, И. Е. Любимов. Большинство же учеников по безголосию в пении не участвовало, и только «Верую» и «Отче наш» исполнялись всеми воспитанниками, подтягивавшими нижнему, «левому» клиросу. Насколько хорошо исполнялись песнопения на правом хоре, настолько же плохо и даже дико звучали стихиры, исполнявшиеся на левом, причем особенно нескладно пел своим глухим басом регент-преподаватель, возбуждавший этим у нас иногда довольно слышный смех. Тогда обыкновенно из алтаря отворялась правая дверь (это бывало почти всегда за всеобщ-

ной, когда приходилось петь неизвестные стихиры, в которых певцы часто путались), что показывало на недовольство происходившим отсюда ректора, стоявшего в алтаре и желавшего этим знаком прекратить производимую левым клиросом какофонию. Мы стояли на правой стороне церкви, будучи ограждены от посторонних богомольцев особыми медными перилами и находясь под надзором помощников инспектора и надзирателей, но тем не менее все же посматривали в левую сторону, подмечая красивых девиц-гимназисток, которые любили ходить в семинарскую церковь, чтобы послушать действительно хорошее пение правого клироса. Нам даже были известны и фамилии этих посетительниц, ходивших в церковь с папашами и мамашами: так, помню, к нам ходили Мякишевы, каретники Ильины (Ильин был несколько лет даже старостой нашей церкви), баронессы Корф (впоследствии вышедшие замуж — одна за артиста Малого театра Южина, другая — за Ленского, которые в конце 80-х годов также иногда, в бытность свою женихами упомянутых баронесс, посещали нашу церковь) и некоторые другие ближайшие наши соседи. Фамилии других девиц оставались нам неизвестными, и если мы иногда между собою разговаривали о них, то называли их какими-нибудь подходящими эпитетами вроде «симпатичная», «блондиночка» и т. п. Но наше «зазирение» всегда было, так сказать, односторонним, потому что девицы никогда не обращали своих взоров в нашу сторону и стояли благоговейно, устремляя глаза свои к алтарю. Семинаристы удостаивались их внимания только тогда, когда выступали у амвона в качестве чтецов Апостола, который обыкновенно читался более голосистыми певчими, или в качестве солистов Великим постом за преждеосвященной обедней, когда они исполняли соло «Да исправится молитва моя». Внимала также вся церковь и проповедникам, воспитанникам богословских классов, когда те с амвона церковного произносили проповеди, принадлежащие известным церковным ораторам, а иногда даже «слова» собственного сочинения.

Свободное время в праздники и в будни мы проводили обыкновенно в вековом семинарском саду, где были некоторые приспособления для гимнастики и кегельбан. Но больше всего нас интересовало катанье на двух нашедшихся в саду прудах — зимою на коньках и санках, а летом — на плотиках, которые мы устраивали из старых, валявшихся в сарае дверей или ставень. Но это «плавание по водам» кончалось для нас не всегда благополучно: бывало иногда, что плотик вдруг погружался одним краем в воду — и незадачный плаватель скатывался с него и погружался по грудь в илстую жидкость, а к тому же на берегу собирались смеявшиеся над ним товарищи, а иногда подходил и инспектор, чтобы взять пловца «на цугундер».

Не более удачны были первое время нашего пребывания в семинарии и наши упражнения на гимнастике. Дело в том, что у нас не было никакого руководителя по части физкультуры, и мы сами должны были приучаться к обращению с трапециями, гигантскими шагами и прочими принадлежностями гимнастики (учитель гимнастики учил нас только в закрытом помещении разным гимнастическим приемам). Поэтому мы часто больно ушибались во время полетов на гигантских шагах или при упражнении на трапедии и кольцах, а я однажды содрал себе всю кожу с ладоней, когда по неведению, влезши на самый верх гимнастического столба с канатом, быстро спустился по канату, который, собственно, был назначен для того, чтобы по нему взбираться снизу вверх. Играли мы в городки, кегли и в лапту, но и здесь дело не обходилось без несчастных случаев, в особенности при игре в мяч, когда какой-нибудь неумелый «боец» преждевременно ударял ладонью и при этом попадал по руке «подавальщика». Зимнее катание на коньках с горы также причиняло нам иногда неприятности, так как при неосторожности мы шлепались вниз прямо физиономией, расквашивали себе носы и выбивали даже иногда зубы об лед.

Заметить нужно, что гора на пруду, с которой мы зимой катались, послужила для художника Сурикова заме-

стительницей... альпийских вершин при написании им известной картины «Переход Суворова через Альпы». По этой горе скатывался на салазках натурщик Сурикова одетый в солдатскую шинель, а художник зарисовывал его на этом скате...

Со стороны наших воспитателей не делалось никаких попыток и к тому, чтобы руководить нас в экскурсиях по городу, которые если и совершались нами иногда, то только *motu proprio* (по собственному почину). Помню, как я с товарищами, а иногда и *solo*, ходил в 1872 г. на Всероссийскую политехническую выставку, устроенную в Александровском саду и в Манеже и представлявшую для нас, совершенно не осведомленных еще в тайнах промышленного производства, огромный интерес. Так как для учеников учебных заведений вход на выставку был бесплатный — требовалось только предъявление ученического билета, — то мы ходили на выставку чуть ли не ежедневно (время было вакационное), большею частью даже два раза в день, уходя только домой пообедать и выпить чаю, и оставались на выставке до самого вечера. Эта выставка, нужно сказать, много дала нам в добавление к тем скудным сведениям, какие мы получили в свое время из географии относительно промышленности. На всех предметах, выставленных для обозрения, имелись соответствующие подписи, иногда довольно обстоятельные, а кроме того на столиках в разных отделах лежали «проспекты» и образчики товаров текстильного производства, которые можно было брать с собою бесплатно. В каких-то восточных палатках помещались на столах огромные круги кавказского сыра, который давался по кусочку и осматривавшей выставку публике, и мы, конечно, неоднократно подходили за этим угощением к раздававшим его каким-то грузинам, которые при этом иногда были столь любезны, что подносили нам «пробовать» и кавказское красное вино. Кроме того, мы с удовольствием слушали игравший на выставке оркестр военной музыки, нисколько не жалея о том, что с нами не было никого из наших воспитателей. Хаживали

мы также по воскресеньям в Румянцевский музей, где нас занимали, главным образом, этнографические коллекции, знакомившие нас с одеждами и отчасти с бытом населяющих Россию народов. Румянцевскую библиотеку мы посещали тогда, когда нам задавали сочинения (в средних и высших классах), чтобы найти здесь соответствующие «источники» и пособия, которых не было в нашей ученической библиотеке, заключавшей в себе только произведения классических авторов и одобренные для чтения в семинариях разные более консервативного направления научные книги. Писарева, например, у нас в библиотеке не было, и я читал его в Румянцевской библиотеке, когда писал сочинение по психологии на тему «Психологический анализ Раскольникова», но Белинский и Грановский у нас имелись, хотя охотников на них почти не оказывалось. Были в библиотеке нашей и некоторые светские журналы, как, например, катковский «Русский вестник» и «Эпоха», издававшаяся братьями Достоевскими, — эти журналы часто спрашивались по обилию в них беллетристики, не так, как журналы духовные, которые преспокойно стояли себе на полках, хотя помощник инспектора И. В. Троицкий, заведовавший ученической библиотекой, усиленно рекомендовал их приходившим за книгами ученикам. Больше всего в расходе были романы Майн Рида, Густава Эмара и Фенимора Купера, изображающие приключения американских охотников и быт диких индейцев, столь непохожий на наш собственный.

Некоторые из более состоятельных воспитанников семинарии были абонированы в частных библиотеках, главным образом у Черенина (на Воздвиженке) и Улитина (на Театральном проезде). Здесь и я пользовался книгами благодаря любезности одного из моих сотоварищей, сына московского священника, и постоянно (начиная с 3-го класса) читал журналы «Отечественные записки» и «Дело», а также «Собрание иностранных романов», издаваемое Ахматовой, так что ознакомился со всеми приключенческими романами французских писателей Понсон дю Террай-

ля, Габорио и Александра Дюма, в особенности же любил читать романы последнего: «Граф Монте-Кристо», «Три мушкетера», «Королева баррикад» и др. Книг серьезного содержания, даже по истории и словесности, никто из нас почти не читал, исключая только случаи, когда такие требовались нам для написания сочинений.

С живою народною жизнью нас никто не заботился ознакомить, быть может, потому, что это ознакомление могло возбудить среди нас нежелательные, с точки зрения начальства, вопросы относительно смысла тех социальных ограничений, какие существовали в наше время для общества и простого народа. Только во время обучения в 5-м и 6-м классах, где преподавались педагогика и дидактика, мы сталкивались с рабочими каретной фабрики Ильина и некоторых других фабрик, приходившими к нам по воскресеньям учиться грамоте в нашей «воскресной школе», но понятно, что никаких разговоров с рабочими об их положении на фабрике заводить мы не могли, если бы даже и хотели, так как за нами постоянно наблюдал преподаватель дидактики, а нередко и сам о^{тец} ректор. Даже к положению духовенства мы относились с полным равнодушием и только изредка заглядывали на собиравшиеся в семинарии съезды духовенства, на которых шли малоинтересные для нас речи о разных делах чисто хозяйственного порядка и никогда не поднимались вопросы принципиального характера. О положении собственной нашей школы и о предполагаемых в ней реформах почти никто из нас не любопытствовал узнать ни из разговоров с родными, ни из духовных журналов, и только, кажется, я один надумал расспросить сестру о жизни Филаретовского девичьего епархиального училища, результатом чего было помещено мною в петербургском академическом журнале в 1875 г. «Церк^{овный} вестник» корреспонденция об этом учебном заведении (там же была помещена и моя корреспонденция о воскресной нашей школе). Мы знакомились с жизнью духовной школы по произведениям Помяловского, Благовещенского и др., но эти произведения описы-

вали жизнь семинарии уже отошедшей в область предания и ничего не могли дать нам «руководящего» для ознакомления с современными запросами духовной школы.

В нашей семинарии не было никаких «кружков» — ни литературных, ни музыкальных: сами мы не догадывались о возможности поощрять <друг> друга в составлении каких-либо литературных произведений, а из наставников словесности не было никого, кто взял бы на себя инициативу в этом деле, что объяснялось тем, что оба преподавателя словесности, И. Е. Любимов и С. Д. Рождественский, были люди слишком неподвижные для того, чтобы взять на себя обязанность руководить нашим умственным развитием, и дальше задавания уроков по учебнику теории словесности и истории литературы некоего Петрова не шли, присоединяя к этому иногда упражнение нас в писании «протяженно-сложной» и иных хрией и в диктантах. Нужно сказать, что и история литературы заканчивалась у нас Гоголем, и из писателей последнего двадцатилетия мы никого не знали. Были, правда, у нас попытки издавать журнальчики, но эти журнальчики читались только в кругу ближайших наших товарищей по классу и не имели широкого распространения, так как мы боялись давать их в руки «чужакам», чтобы наша затея не сделалась известной начальству, которое за это, конечно, не погладило бы нас по головке. Я лично во время обучения в 4-м классе только под сурдинкой издавал маленький «Воскресный досуг», но и то скоро бросил это дело, потому что опасался привлечения к ответственности. Вел одно время я и свой «дневник», но также забросил его довольно скоро опять в силу таких же опасений. Точно так же и другие некоторые семинаристы, постарше меня, занимались писанием литературных произведений, но опять-таки таили это про себя, и только раз один семинарист 5-го класса Н. Рождественский, с которым я как-то вступил в разговор по какому-то вопросу, по секрету сообщил мне, что летом он написал целый роман, который он оставил дома.

Воображаю, каков был по содержанию этот труд хотя бы и способного ученика, но совсем незнакомого с жизнью и притом еще довольно отсталого по своим воззрениям, что видно было из его отзыва о той книге, какую я в то время держал в руках, именно истории философии Бауэра. «Бауэр! — заявил мой собеседник, сделавшийся после окончания семинарии монахом Никоном и впоследствии архиепископом Вологодским, членом Государственного Совета. — Да ведь это еретик! Я его книги и в руки не возьму...» Напрасно я объяснял ему, что Бауэр — это совсем другое лицо, чем тот Баур, который написал критический разбор Евангелий и против которого ратовали в то время наши профессора богословия на страницах духовных журналов, — мой собеседник и слышать ничего не хотел, изрыгая хулы на ни в чем не повинного историка философии.

Что касается музыки, то она в мое время вообще не была поощряема в семинарии, почему и не могло у нас образоваться никаких музыкальных кружков. Инструментов музыкальных не приобреталось, и только существовали две-три скрипицы, на которых обучал желавших играть какой-то дякон — скрипач-любитель. Вокальное исполнение имело место только в виде «спевков» правого хора, на какие ходили и мы в качестве слушателей, да еще в послеобеденное и послеужинное время, когда несколько семинаристов по своим классным комнатам распевали хором «Гой ты, Днепр ли мой широкий», а солисты-басы орали песню «Неизвестного» из той же оперы «Аскольдова могила» «В старину живали деды». Некоторые выдающиеся по голосам старшие семинаристы, правда, учились уже пению как следует и впоследствии стали певцами (напр<имер>, тенор Страхов, окончивший Московскую консерваторию и потом певший на сцене частной оперы), но эти певцы были «приходящими», не жили «на казне», и потому мы не имели возможности наслаждаться их пением: только иногда в церкви, Великим постом, когда все воспитанники обязаны были посещать семинарскую церковь по средам и

пятницам, в которые совершалась для нас «преждеосвященная» обедня, такие певцы выступали в качестве солистов и поражали нас мощью и красотой своих голосов.

Гораздо больше, чем литературой и музыкой, семинаристы в мое время интересовались театром. Собственно, «в театр» нас из семинарии не отпускали — жившие по домам воспитанники, конечно, могли посещать театр безвозбранно, потому что московское духовенство не считало театр чем-либо греховным, — но мы, казеннокоштные, не могли получать разрешения на это от начальства, которое хотя само и не прочь было посмотреть на какую-нибудь хорошую пьесу (я разумею здесь, конечно, инспектора и его помощников, а ректор, конечно, по своему духовному сану и не мог думать о посещении зрелищ), но тем не менее по указанию от высшего начальства не давало нам отпусков «прямо в театр». Поэтому-то мы обыкновенно, идя в театр, говорили дежурному помощнику инспектора, что идем к родственникам и что, может быть, засидимся там часов до 12-ти ночи. Хотя помощник инспектора хорошо понимал, к каким «родственникам» мы отправляемся, тем не менее он давал нам отпуск, не запрещая нам являться в семинарию и к 12-ти часам ночи. Ходили мы почти исключительно в Большой театр на русскую оперу — Малый не пользовался у нас вниманием, но в драматический народный театр на Варварской площади, возникший во время Политехнической выставки в 1872 г., мы ходили часто, так как сюда привлекала нас дешевизна мест галереи (5 коп.) и манила также народная столовая, находившаяся рядом с театром, в которой можно было отлично пообедать за 20 копеек. Посещали мы также цирк Гинне, находившийся на Воздвиженке (теперь на этом месте стоит «Замок», выстроенный Морозовым), но там на галерке было так тесно, что мы прямо задохались, а однажды, еле выбравшись из этой давки, я тут же на лестнице упал без чувств. В соседний с семинарией летний театр и сад «Эрмитаж» нам ходить, конечно, было не по карману, и мы только иногда проникали туда утром, когда в театре

шла репетиция какой-нибудь оперетки или циркового представления (перед сценой театра был устроен и цирк). Вечерами же мы перелезали через семинарский забор и пробирались к забору «Эрмитажа», чтобы посмотреть сквозь него в щелочки на увеселения, какие давались на открытом воздухе. Помню, я видел в 1874 или 1875 г. воздухоплавательницу Леону Дар, которая поднималась вместе с шаром, держась зубами за трапецию, подвешенную под шаром. Видал также я бега на призы, в которых состязались не только мужчины, но и женщины, видел и «человека-рыбу», который, лежа в большом стеклянном ящике, наполненном водой, курил папиросу. Иногда мы после вечерней молитвы наблюдали за эрмитажными садовыми увеселениями, сидя на одном из высоких курганов семинарского сада, и слушали отсюда музыку, игравшую в «Эрмитаже». Но после этих походов нам часто приходилось при возвращении в семинарский корпус наткнуться на запертые двери, которые швейцар иногда упорно нам не отпирал, и мы попадали в семинарию уже через большую форточку в окне нижнего этажа, выходящем в коридор, причем должны были выждать, когда из сада уйдет домой гулявшие там по вечерам члены инспекции.

Немало было, однако, таких семинаристов, которые театром вовсе не интересовались, а предпочитали эстетическим наслаждениям более низкие, как куренье и употребление спиртных напитков, держась в отношении к последним древнего взгляда, по которому «Руси есть веселие пити». Курить почему-то считалось чуть ли не обязательным для семинариста, и я помню, как мой товарищ по училищу Холмогоров серьезно сказал мне в ответ на мой вопрос, почему он стал курить, когда в училище не курил: «Да ведь я же теперь семинарист. Как же мне не курить?» Начальство не очень преследовало за эту привычку, и только в тех случаях, когда воспитанники выходили с папиросами в сад, на них налагались соответственные взыскания. Что касается употребления вина, то известно еще старинное определение, какое давалось семинаристу: «Семинарист есть

существо поющее и пьющее». Многие из семинаристов действительно любили выпить и не только «употребляли» спиртные напитки, но и «злоупотребляли» ими, получая таким образом еще в юношестве прочные задатки алкоголизма, впоследствии развивавшегося благодаря разным обстоятельствам и окончательно их губившего. Понятно, что «выпивание» строго воспрещалось семинарским начальством, и нарушителям этого запрещения полагалось серьезное возмездие, но семинаристы находили возможность укрываться для «вкушения вина и ликера» от глаз бдительного начальства по разным трактирчикам и пивным, куда они безвозбранно допускались, потому что не имели «формы», какая была, напр<имер>, у гимназистов, которых в трактиры не пускали. Изредка даже «любители» приносили хмельные напитки и в семинарию и здесь, где-нибудь в укромном уголке, в компании уничтожали принесенное, закусывая колбасой или огурчиком. Я тоже однажды под Новый год, находясь уже в 5-м классе, купил полбутылки лиссабонского и принес ее в семинарию — в помещение ученической библиотеки, которой я в то время заведовал, где и выпил ее с двумя товарищами, впрочем, не без дурных для себя последствий, выразившихся в страшной головной боли и тошноте. Более сильные натуры из моих товарищей не ощущали, однако, никакого вреда для себя от употребления не только 40° водки, но даже и от спирта, чуть разведенного водой, который им в пробирках иногда подносили служившие в аптеках их знакомые провизоры. Но были также случаи, когда неумеренное выпивание влекло за собою для семинаристов и нехорошие последствия. Так, помню случай, когда четверо наших семинаристов, пошедшие к обедне в Богоявленский монастырь для «посвящения в стихарь», возвращаясь в семинарию, зашли по дороге в соседний с семинарией трактир Катышева и здесь так «назюзюкались», что оставили свои стихари в трактире, о чем и заявили со стыдом дежурному помощнику инспектора, объяснив при этом, что они оставили их «в залог», так как у них не было достаточно денег,

чтобы расплатиться за все выпитое вино и закуску. Мы потом дразнили их, хором напевая им старинную семинарскую песню:

Аристотель древний,
Мудрый философ,
Продал панталоны
За сивухи штоф.

Другой подобный случай был с тремя моими товарищами, зашедшими в ресторан Саврасенкова, находившийся на проезде Тверского бульвара (у памятника Пушкина). Когда после выпивки и закуски в отдельном кабинете дело подошло к расплате, то оказалось, что денег ни у кого из них нет, и наши герои не нашли другого выхода из создавшегося положения, как выскочить из окна кабинета, в котором они заседали и который помещался в нижнем этаже ресторана. Однако избежать наказания им не удалось: половой, подававший им вино, из их разговоров между собою догадался, что его гости — семинаристы, и потому, не будь дурак, прямо явился в семинарию к инспектору с донесением о происшедшем инциденте. Виновные вскоре были найдены и понесли соответствующее их проступку взыскание — но какое именно, не упомяну...

Иногда семинаристы отваживались даже являться в таких запретных для них местах, как московские клубы, во время разных устраивавшихся здесь вечеров и здесь так же предаваться утехам Бахуса. Помню, как мой товарищ Савинский (впоследствии ставший доктором), находясь еще в 4-м классе семинарии, отправился в Дворянское собрание на студенческий вечер 12-го января и здесь пьянствовал и плясал со студентами где-то в верхних комнатах собрания в течение целой ночи, а потом вернулся в семинарию с карманами, в которых оказались запихнутыми мельхиоровые ложки и скомканные салфетки, что, однако, прошло для него без всяких дурных последствий. Один семинарист, находясь в Немецком клубе на маскараде «в

больших градусках», отважился даже подойти к бывшему в клубе семинарскому преподавателю Протасову и начал «интриговать» его, так как находился в маске. Протасов впоследствии рассказал мне, что он узнал своего ученика по голосу и довольно крупной фигуре, и потому, когда тот, протягивая ему руку, воскликнул: «А, Протасов! Давно мы с тобою не видались!», — Протасов спокойно ему ответил, что он рад бы был и вовсе с ним не видеться, потому что ему надоело смотреть на него и <в> классе, и аффрапированный таким ответом замаскированный семинарист поспешил улепетнуть из клуба восвояси...

Помню, что винопитию чаще всего предавались «халтурщики»-певчие, которые состояли певцами в некоторых небольших хорах, работавших по приходским церквям. Они брали обыкновенно отпуск к родным, но на самом деле ходили под праздники петь всенощную где-нибудь в приходе, после чего имели обычай в компании с другими певчими заходить в трактиры, откуда уже к ночи возвращались в семинарию почти всегда выпивши. Понятно, что употребление алкоголя в таком юном возрасте имело для «халтурщиков» очень пагубные последствия, и немало из них становилось лентяями, оставалось на повторительные курсы в том же классе, а некоторые за неуспешность даже были увольняемы из семинарии.

Кроме пьянства, между семинаристами замечалось, хотя и не в сильной степени, и хулиганство. Были такие «натурь», которым нравилось «дерзить» начальству и делать разные пакости товарищам, так что их можно было справедливо приравнять к героям «Бурсы» Помяловского, «детинам непобедимой злобы». Таков был, например, мой товарищ Н. Воскресенский, который, будучи уже в последнем классе семинарии, вел себя отвратительно в отношении ко всем его окружающим. Так, я помню, как однажды он, будучи дежурным по классу, упорно отказывался стереть с классной доски какую-то нецензурную надпись, хотя к этому был принуждаем не только дежурным помощником инспектора, но и самим инспектором, приглашен-

ным в класс для вразумления упряма. «Не я писал — потому и стирать не буду!» — дерзко отвечал Воскресенский и помощнику, и инспектору, который поэтому должен был отправить его в карцер. Другой раз он на требование помощника идти па занятия гимнастикой просто повернулся к нему спиной и ушел гулять, хотя помощник кричал ему вслед, чтобы он остановился. В спальне после вечерней молитвы он начинал обыкновенно всячески издеваться над одним товарищем, человеком очень смирным, и заставлял его щипками исполнять все, чего от него требовал Воскресенский, даже иногда выходил с ним в сад, чтобы камнями разбивать стекла в фонарях, горевших на соседней с семинарским садом улице Щемиловке... Бывали также и случаи массового хулиганства в столовой, когда попадались кому-нибудь за ужином испорченные яйца всмятку или если попадало в кашу прогорклое масло. Тут иногда яйца пролетали над головой ходившего по столовой помощника инспектора и ударялись в стену, окрашенную в белую краску, оставляя на ней очень некрасивые следы, а о прогорклом масле воспитанники заявляли выкриками: «Каша, каша!» Но более благоразумные товарищи, к которым принадлежал и я, находили лучшим не делать никаких демонстраций и протестовали против недоброкачественного кушанья легальным путем, представляя чрез депутацию самому о<тцу> ректору образцы возбуждавших наше недовольство кушаньев, причем, нужно заметить, никогда за это не видели в отношении к себе никаких репрессий со стороны начальства, обыкновенно успокаивавшего нас обещанием, что вперед недоброкачественных кушаньев подаваться не будет.

Бывали у нас и случаи хулиганского обращения с семинарским садом. Так, когда правление семинарии решило облагородить запущенный вид сада и по дорожкам устраивались целые аллеи из молодых березок, некоторые безобразники стали вырывать эти березки и бросать их тут же на дорожках, не желая понять, что деревья сажались для их же удовольствия. Очевидное дело, здесь сказыва-

лась отрывка старой бурсы, в которой происходили такие же бессмысленные разрушения казенного имущества, и наш добродушный ректор так и объяснил в одной из своих речей, сказанных нам в церкви, поведение неведомых безобразников, процитировав несколько выдержек из «Очерков бурсы», которые как раз подходили к нашему положению. Точно так же относились некоторые хулиганствовавшие семинаристы к прудам, находившимся в семинарском саду, на очистку которых правление затратило несколько тысяч рублей. Палки, доски, разломанные колеса — чего-чего только ни кидали в эти пруды наши безобразники, и вследствие этого скоро вычищенные пруды наполнились снова всяким мусором, который садовники с большим трудом старались вылавливать. Воспитатели наши, однако, не додумались до средств гарантировать казенное имущество от такого к нему хулиганского отношения, а ведь это было бы очень легко сделать. Стоило только привлечь самих воспитанников к уходу за садом, отдать его прямо в их ведение, тогда, наверное, они сами бы занялись, конечно, под наблюдением садовника, и трамбовкою дорожек, и посадкою деревьев и кустарников, и очисткою прудов и охраняли бы результаты своей работы. Можно бы на обширных семинарских лужайках развести целые огороды, опять путем предоставления воспитанникам возможности их обрабатывать, и дать работавшим право пользоваться частью некоторых взрошенных ими овощей, — это было <бы>, конечно, полезно во всех отношениях и, главное, как полезный физический труд, предохранило бы их от бесцельного шатанья в свободное от уроков время, но, говорим, наши педагоги в 70-х годах еще не сумели этого понять, и сад воспитанникам казался чем-то чужим, к чему можно отнести как нельзя хуже... В отношении к преподавателям и воспитателям многие из моих сотоварищей допускали себе прямо-таки непозволительные выходки. Так, С. Лебедев, будучи уже в 5-м классе, начал «подлавливать» преподавателя церковной истории в «ошибках» против хронологии, которые тот

иногда делал при объяснении урока, и довольно громко, следя по книге, говорил своим соседям: «Опять соврал! На 20 лет ошибся», что, конечно, доходило до ушей преподавателя и страшно его нервировало. Однажды Лебедев даже вступил в открытое пререкание с этим преподавателем, вследствие чего в класс был приглашен инспектор, потребовавший от Лебедева извинения пред оскорбленным преподавателем. Лебедев, однако, извиниться не пожелал и за это был посажен в карцер. С этим же преподавателем, когда он давал урок немецкого языка, случилось еще худшее приключение. При выходе его из класса, когда он был окружен толпою воспитанников, кто-то из последних, очевидно, злобствовавший на «несправедливость» преподавателя в оценке его познаний, ударил его по голове книгой и в тот же миг спрятался за спины товарищей, так что его уже нельзя было сыскать. Помню, что после этого инцидента упомянутый преподаватель долгое время выходил из класса задом, оборотившись лицом к толпе следовавших за ним учеников... Старичку преподавателю Писареву, которого и ученики, и преподаватели называли про себя «дяденькой», некоторые воспитанники при встрече также вслух произносили этот эпитет, который очень раздражал Писарева, и последний неоднократно хватал какого-нибудь «племянничка» за шиворот и отводил к инспектору. А что касается преподавателей-иностранцев, то на их уроках ученики уже «распоясывались вовсю» и производили всякого рода безобразия. Одним из видов таких безобразий было удлинение молитвы в целях оттянуть лишнюю четверть часа от спрашивания урока. Какой-нибудь сорванец, взяв на себя роль дежурного, начинал при входе в класс немца или француза читать самые разнообразные молитвы: и «Царю небесный» (обычная молитва пред началом урока), и «Отче наш», и «Богородицу», и «Верую», а потом некоторые молитвы повторял сызнова, и бедный учитель, боясь перервать чтеца, чтобы его не обвинили в том, что он не дает ученикам возможности излить свои религиозные чувства, все стоял недоумевая,

кончена ли молитва или будет продолжаться еще... Наконец, была мода писать прозвища, под какими были известны преподаватели, на классных досках, стенах, на деревьях в саду, в уборных — словом, где только было возможно, и таким образом некоторые преподаватели «заклеймлялись» прозвищами на долгие годы, и последующие поколения учащихся уже находили эти прозвища готовыми, не трудясь придумывать другие. При этом не щадились даже лица священного сана, которых в мое время было немало среди преподавательского персонала, и прозвища «Поп», «Моща», «Нуллиус» так и оставались за отцами преподавателями во все время их службы в семинарии. Даже преподавателей любимых мы не упускали случая поименовать прозвищем, даваемым иногда довольно удачно. Так, уважаемого и величественного нашего инспектора никто не звал между собою Алексеем Ивановичем, а всегда «Зевсом», да притом еще «Олимпийским»; преподавателя философии, при своих объяснениях часто приговаривавшего: «Ну-те, хорошо», — так и звали «Ну-те, хорошо!»

Но мне кажется, что я уже слишком долго останавливался на темных сторонах нашего семинарского кружка и что пора бы сказать что-нибудь и о светлых сторонах в облике семинариста моего времени. К сожалению, однако, здесь я чувствую, что сказать мне почти нечего: могу только упомянуть, что в общем семинаристы моего времени относились довольно внимательно к своим ученическим обязанностям в деле приготовления уроков и писания «сочинений», а многие питали надежду на получение и высшего образования или в университете, или в академии. Отметим также нужно и то, что примерно в 4-м классе мы уже освобождались от гнета традиционных воззрений, вынесенных нами из наших семейств, и начинали уже смотреть на жизнь более трезво и рассуждать в «либеральном» духе о всем, что входило в круг нашей жизни. Положим, и здесь наш «либерализм» принимал иногда довольно уродливые формы, выражаясь, напр<имер>, в открытом нарушении постов, в насмешках над священными предметами и ду-

ховными лицами и т.д., но все же, несомненно, у нас создалась необходимость свободы мысли и поступков и нелепость разных препон, какие ставились семинарскому юношеству на пути его умственного развития. Затем мы в достаточной степени сохраняли уважение к тем из наших воспитателей и учителей, которые того заслуживали своим педагогическим тактом и умением преподавать вверенные им дисциплины. В неблагодарности по отношению к воспитывавшему нас заведению в общем нас упрекнуть было нельзя. Наконец, опять-таки в общем мы держали себя прилично, не уподобляясь нашим предшественникам по воспитанию в семинарии, бурсакам 40—60-х годов, о которых у нас ходило немало рассказов, выставлявших их в довольно непривлекательном виде. Словом, были в нас, несомненно, и добрые черты, добрые стремления, хотя, может быть, иногда и принимавшие нежелательную форму. Все же, однако, я вынуждаюсь сказать, что семинаристы моего времени были далеко не такими, какими бы им следовало быть в отношении умственного и нравственного развития...

Теперь нужно сказать несколько слов и о том педагогическом составе, при котором я учился в семинарии. Но здесь я удовольствуюсь характеристикой только части преподавателей, потому что о всех других я буду говорить в следующей главе, где изображается время моей службы в семинарии с большинством тех педагогов, которые работали в семинарии как в мои учебные годы, так и в годы пребывания моего в семинарии в должности преподавателя. Из числа моих преподавателей, которых я уже не застал при поступлении своем на службу в семинарию, я должен выделить несравнимого с другими преподавателя Св. Писания Нового Завета Д. П. Боголепова, автора хорошего учебного руководства для изучения Евангелий, скончавшегося еще совсем молодым человеком. Это был блондин высокого роста, с окладистой бородой и светло-голубыми глазами, говоривший мягким тенором и очень симпатичный на вид. Его часто вдохновенные уроки по

изъяснению Евангелий западали к нам в душу, и мы, затаив дыхание, слушали тихую, но ясную его речь. Не приготовить ему урока и не написать добросовестно ему сочинения считалось у нас недопустимым. Пользовался также нашими симпатиями молодой, только что в 1874 г. вышедший из академии, преподаватель науки о проповедничестве П. М. Апостольский, умевший весьма живо и научно поставить дело преподавания своего предмета и приучавший нас проповедовать «импровизацией», без предварительной подготовки. К сожалению, как и Боголепов, Апостольский был похищен смертью в очень молодых летах. Прочие преподаватели, которых я уже не застал при своем поступлении на службу в семинарию, были натуры весьма неподвижные, не владели даром слова и нашими симпатиями не пользовались. Это были: преподаватели Св. Писания Ветхого Завета священник В. С. Марков (впоследствии протоиерей Успенского собора) и С. Д. Писарев и затем преподаватель литургики священник И. Я. Березкин, которого у нас звали просто «поп». Ученье у них шло плохо — мы жили на их уроках «подсказами» и «считыванием» с записок, а как следует уроки у них не учили... Еще ниже стояли преподаватели греческого языка священники Н. Г. Малиновский и В. Т. Покровский. Уже одно то, что они говорили чуть слышным голосом — Малиновский, у которого от продолжительного чрезмерного употребления спиртных напитков, уже прямо только шипел, а не говорил, — производило на нас удручающее впечатление, а потом их собственная незаинтересованность предметом греческого языка производила и в нас полное равнодушие к занятию преподаваемым ими предметом. Да и что это было за преподавание?! Ученик по хрестоматии Носовича или по какому-нибудь святоотеческому творению переводил с помощью имевшихся у него под рукою переводов, написанных на листочках, а о^{тец} Малиновский или Покровский, стоя перед ним, изредка его поправляли, совершенно не обращая внимания на остальных учеников, до которых почти ни слова не доходило из перешептывания препода-

вателя с спрашиваемым учеником, который как будто исповедывался пред батюшкой в чем-то, а вовсе не занимался научным переводом классического писателя или отца церкви. Малиновский, кроме того, и в класс-то приходил не более как на полчаса, да притом и эти полчаса часто употреблял на разговоры с учениками, совсем не относящиеся к предмету его классных занятий. Часто бывало, что мы сидим, бывало, пред уроком Малиновского в ожидании его чуть ли не целый час и потом вдруг слышим из коридора его шепот: «Дежурного!» Это значило, что Малиновскому совсем нежелательно войти в класс, и он хочет подписаться в классном журнале, как якобы действительно бывший на уроке. Кроме того, он заставлял дежурного иногда расписаться за него в журнале, потому что у него бывало такое дрожание пальцев, что он не мог вывести ни одной буквы. Учитель латинского языка П. И. Цветков относился к своему делу внимательно, и мы у него кое-что начали понимать, но он вскоре выбыл из семинарии на место доцента академии.

Таким образом, наши преподаватели, за некоторыми указанными выше исключениями, в общем стояли не на высоте своего положения как преподаватели столичной семинарии, которая, казалось бы, должна служить образцом для других. Естественно, что и мы только по некоторым предметам могли оказывать более или менее достаточные успехи, в большинстве же случаев мы кончали курс с весьма недостаточным багажом научных сведений и не умеющими как следует распорядиться и воспользоваться даже и тем, что мы приобрели. С таким незначительным запасом сведений я поступил вместе с 10 — 12-ю своими товарищами и в Московскую духовную академию, где прожил четыре года, после чего три года состоял на службе в Тверской семинарии. Так как эти семь лет проведены мною вне Москвы, то я и опускаю их в своих воспоминаниях «старого москвича» и перехожу прямо к эпохе 1883 — 1917 годов, в которые я постоянно жил в Москве и о которых могу говорить опять как москвич.

Но я сделал бы большое упущение, если бы не сказал ничего о тех влияниях, под какими многие из нас находились в кругу своих родных, у которых мы проводили каникулярное время и праздники. Такие влияния, несомненно, имели место в отношении ко многим из нас, но я, конечно, говорить о них могу только по отношению к самому себе. Что же это было такое? Во-первых, я, несомненно, кое-чему для расширения своего умственного кругозора научился из частого общения с моими двоюродными братьями — Надеждиными, из которых старший был преподавателем Петербургской семинарии, средний — присяжным поверенным в Рязани, а младший кончал курс на медицинском факультете. Последний постоянно жил у своего отца, в церковном доме ц^{еркви} Гавриила Архангела при Почтамте, а первый, как и второй, проводили там же каникулы на Рождестве и Пасхе, бывая также в Москве иногда и летом. Старший немало передавал мне о жизни петербургских семинаристов и вообще о жизни в Петербурге, пускаясь даже иногда и в рассуждения общеполитического характера, причем направления держался «левого», как сотрудник петербургской либеральной газеты «Голос», издававшейся Краевским. Вторым был человек большой (он умер вскоре после моего поступления в семинарию), но так же, как и старший, довольно резко отзывался о политике нашего правительства эпохи 70-х годов, и, кажется, его рукой сделаны были копии с ходовых в свое время антимонархических стихотворений, каковы: «Я нашел друзья, нашел» и «Когда он в вечность отошел, наш незабвенный Николай», которые мною найдены были с несколькими номерами герценовского «Колокола» в оставшихся в чулане после него бумагах. Младший брат политикой и литературой не интересовался, и я обязан ему только тем, что узнал дорогу в театр — учреждение в полном смысле просветительное. Благодаря же близкому и дружескому отношению ко мне старшего Надеждина, я рано уже узнал, что скрывается под величием лиц высокого сана и звания и привык довольно критически рассуждать о

многих сторонах нашей жизни. Особенно западали мне в душу те факты из жизни нашего высшего духовного начальства, о каких сообщал мне мой развиватель и которые показывали, что наши владыки — «князья церкви» — люди очень невысокого полета и думают больше всего о собственном благополучии, чем о благе вверенного их попечению духовного стада. Гацивал я также и в семье другого своего дяди П. И. Певницкого, учителя 2-й гимназии, о котором мне пришлось уже упоминать выше, но там я не получал ничего в отношении умственного развития, потому что оба сына дяди, мои двоюродные братья, выросли под строгой ферулой своего папаша, ярого классика и читателя Каткова, почему и их все рассуждения не сходили с узкоконсервативной почвы. Катков для них был «царь и бог», и они восторгались его «передовицами», в которых он расправлялся по-свойски с теми, кто казались ему врагами царя и отечества. Достаточно сказать, что они вполне одобряли выпады своего кумира даже против такой безобидной газеты, какова была газета Гилярова-Платонова «Современные известия» и которую тем не менее Катков сумел выставить в положение потрясающей основы жизни русского государства. У Певницких я только мог свободно зачитываться историческими романами, по поводу которых у меня с ними никаких рассуждений не поднималось... У остальных моих родственников, которые все жили исключительно обывательскими интересами, поучиться чему-нибудь полезному было нечего, и только разве «запои» моих дядей-соборян Успенского собора внушали мне мысль о том, каковой не должна быть жизнь духовных лиц, так что уже с семинарии у меня явилась значительная антипатия к духовному званию, которая всегда и удерживала меня от принятия священного сана.

Впрочем, во время пребывания моего у дяди на даче в с. Владыкине, близ Петровского-Разумовского, я натолкнулся на довольно интересную компанию молодежи нигилистического пошиба. Это было летом 1873 года, когда еще у всех в памяти было свежо так называемое Нечаевское

дело, в котором участвовало несколько молодых людей, которых в то время принято было называть нигилистами. У нас по соседству, вскоре по переезде нашем на дачу, оказались три девицы-курсистки и петербургский студент Васюков, к которому ходил его приятель, сын фабриканта, Фалин. Моя двоюродная сестра познакомилась с ними, а через <нее> познакомилась и мы с этими курсистками и студентами, которые подолгу засиживались вечерами с нами посреди деревни «на бревнышках» и иногда играли в горелки. Бывало, что еще днем мы целой компанией отправлялись куда-нибудь на прогулку, чтобы к вечеру опять вернуться на свои «бревнышки». Девицы были хотя и красивы, но манерами хорошими не отличались. Помню, как однажды одна из них сказала, обращаясь к одному из студентов: «Фалин, вытрите мне нос!» — и с серьезным видом высморкалась в подставленный ей Фалиным его носовой платок. Даже то одно, что эти девицы стригли себе коротко волосы, несколько претило мне, и я старался держаться от них подальше, тогда как студенты производили очень приятное впечатление простотою своего обращения и добродушием. Но никаких разговоров на политические темы студенты и девицы с нами не заводили, и только впоследствии, года через два, мы узнали, что наши компаньоны были люди крайне левого лагеря и, по слухам, приняли участие в студенческой демонстрации в Петербурге на Казанской площади, за что Васюков был из Петербурга выслан, а Фалин сослан в Сибирь, где и умер*. Более в течение семинарского курса мне не приходилось уже наткнуться на людей, которые могли бы «просветить» меня в политическом отношении, и если я приобретал в эту пору кое-какие сведения о внутренней жизни нашего государства, то только исключительно из газет, которые, без сомнения, представляли

* Подробно обо всем этом деле, равно как и о жизни своей во Владыкине, Васюков говорит в своих воспоминаниях, помещенных в журнале «Исторический вестник» за 1908 год.

своим читателям далеко не верную картину нашего политического режима.

Но если мне, да, полагаю, и прочим моим товарищам по школе, не приходилось сталкиваться с какими-либо «развивателями», то мы получали некоторое понимание жизни сами по себе, наблюдая за тем, что нас окружало. Взять хотя бы, например, только что упомянутое мною пребывание на даче во Владыкине — чего-чего я только тут не насмотрелся! Прежде всего, тут впервые я ознакомился с представителями нашей «военщины» — юнкерами и офицерами драгунского эскадрона, стоявшего тем летом на постое во Владыкине. Эти «господчики» — они все были из дворян — обучались в Тверском кавалерийском училище (которое, кажется, с легкой руки Щедрина, все называли попросту «лошадиным училищем») и по манерам своим напоминали купеческих «саврасов», каких и то время изображало «Развлечение» — юмористический журнал, издававшийся в Москве Ф. Б. Миллером. Они как-то втерлись было и в нашу компанию, но стали так грубо и дерзко обращаться с нашими сестрами-девицами, что те решительно отказались продолжать с ними знакомство, после чего юнкера с своей стороны стали делать им разные пакости. Так, например, они однажды напоили одного из местных крестьян и вытолкнули его в одной рубахе, без штанов, пред окна нашей дачи, причем пьяница, очевидно по их наущению, плясал у нас на виду и пел песни, а его штаны висели у него сзади, будучи привязаны ремнем. Когда мы вечером иногда отправлялись гулять в рощу, юнкера пугали нас разными отчаянными криками, представляясь как бы попавшими в руки грабителей, и выкидывали разные другие штуки... Офицер драгунский однажды за выпивкой в саду исколотил в кровь одного дачника, за что был переведен в другой полк. Да и с солдатами офицеры обращались крайне грубо. Помню, как однажды я стоял на лугу и дожидался начала смотра, какой должен был произвести эскадрону его начальник-майор. Солдаты были в «пешем строю», и вахмистр до прихода офицеров обучал их военной выправке. Один солдатик как-

то неудачно исполнил требуемый от него «поворот налево», и вахмистр тут же закатил ему оплеуху, но в это время из-за угла дачи появился майор с офицерами, который, заметив происшедшее, спокойно подошел к вахмистру и со словами: «Как ты смеешь драться?!» — дал ему такую здоровую пощечину, что тот едва устоял на ногах... И в то же время эти «господа офицеры» играли роль галантных кавалеров на балу, какой устраивался раз в лето местными дачниками, пленяли дам своими изысканными манерами и изяществом в танцах.

Посмотрел я также во Владыкине на «мирские сходы»: крестьяне говорили очень невразумительно, перебивая <друг> друга и двадцать раз повторяя все одно и то же, так что скучно было их слушать. Однажды при мне обсуждался вопрос о взносе наложенного на деревню за что-то штрафа в 3 р. на всех, и вот о такой великой сумме рассуждали часа два, причем многие определенно заявляли «что таких денег нет во всем селе» и что заплатить такой «большой» штраф невозможно. И такое притворство — а это, конечно, было притворство, потому что некоторые крестьяне ездили в Москву извозничать, а другие продавали молоко — было прямо противно видеть, особенно в тех, у кого находились деньги на покупку полштофа очищенной, а таких во Владыкине было немало. Неприятно было также смотреть на то, как унижались пред офицерами и юнкерами их хозяева — владельцы дач и изб, когда те соблаговольяли от своих щедрот угостить их стаканом-другим водки. Наконец, постоянная ругань, какую изрыгали крестьяне на своих семейных, не стесняясь присутствием дачниц, возбуждала в нас чувство омерзения, а наши дамы, весьма чувствительные особы, прямо иногда плакали, когда должны были слушать, сидя на террасе дачи, «крепкие» выражения, которые употребляли хозяева дач по отношению к своим женам и дочерям...

Приходилось мне наблюдать вне стен семинарии, конечно, и некоторые отрядные проявления человеческого чувства, видеть и узнавать и добрых, хороших людей, но, к сожалению, это бывало довольно редко, и в большинстве

случаев мои воспоминания о жизни разных слоев московского общества, с какими мне приходилось соприкасаться, довольно-таки грустного характера. Так, например, я помню, что, бывая на праздниках у своей матери, жившей в доме Братолюбивого общества в Девятинском переулке, я наткнулся нередко на разные сцены, происходившие между жившими там вдовами-старухами, которые от безделья все время перекорялись между собою и злобно спорили одна с другой по самым ничтожным поводам. Помню, как раз я застал свою мать плачущей в своей комнате по поводу обиды, нанесенной ей одной из ее соседок, которая, позабыв давая тому, что моя мать как-то ухитрилась на заработанные ею шитьем три рубля купить себе теплый шерстяной платок, разрешила этот платок на части, воспользовавшись уходом моей матери на несколько минут в кухню. Такие же отношения наблюдал я и между жившими в Горихвостовом доме призрения (в Армянском переулке) вдовами духовного звания, где мать моя жила, кажется, года два. Так же тяжело чувствовалось мне и то расхождение, какое существовало почти постоянно между моими дядями-соборянами на почве взаимных обид хотя бы за карточным столом. Целыми годами, бывало, мои дяди и тетки, жившие на одном дворе, не ходили друг к другу, а мне было чрезвычайно стеснительно, бывая у одного дяди, ходить в то же время к другому, так как поневоле каждый раз приходилось слышать, как один, за глаза конечно, поносил другого. У родственников моих, более культурных, каковы были Надеждины и Певницкие, я ничего подобного не видел, и там я мог гостить с спокойною душою, зная, что меня не заставят принимать участие в осуждении лиц противного лагеря или выспрашивать о том, что там делается, как часто случалось это в семьях соборян. Не приходилось здесь видеть и тех неприятных сцен, какие разыгрывались между дядями и тетками, жившими в доме Успенского собора, из-за пьянства мужей, которые, по крайней мере, неделю в месяц проводили в «запое» и этим отравляли жизнь и женам и детям своим.

Глава IV

На службе в Москве в Духовной семинарии (1883-1917)

По окончании семинарского курса я четыре года провёл вне Москвы, в Сергиево-Посадской (Московской) духовной академии и потом три года в Твери, куда я был назначен в 1880 году на должность преподавателя тамошней семинарии по кафедре латинского языка. За этот семилетний период времени я посещал Москву неоднократно и жил здесь по неделе и более у своих родственников, так что мог наблюдать за жизнью Москвы в разных отношениях. Впрочем, в это семилетие в древней столице произошло немного изменений по сравнению с тем, что она представляла собою до моего отъезда из нее. Только, как я запоминаю, усилилось строительство домов доходных, которые стали появляться на разных улицах Москвы в большом количестве, да появились клиники на Девичьем поле благодаря заботам тогдашнего городского головы Алексеева. Бывал я на некоторых выставках, открывавшихся в Москве — на французской и русской промышленной, и видел торжество коронации Александра III, при чем любовался великолепной иллюминацией Кремля. Кое-кто из моих родственников и знакомых за это время померли, другие переменили места службы, но в общем каких-либо крупных изменений в той сфере, в какой я вращался ра-

нее, мне наблюдать не приходилось, и когда я наконец, в 1883 году, переехал на постоянное жительство в Москву, то мог бы сказать словами Грибоедова при встрече с представителями разных слоев московского общества: «Ба, знакомые все лица!»

Переход в Москву на службу был для меня сопряжен с немаловажными затруднениями. Еще в 1880 году, чрез три и<ли> четыре месяца после моего поступления в Тверскую семинарию, я пытался пробраться на службу в Московскую семинарию, где за смертью Д. П. Боголепова оказалось свободным место преподавателя Св. Писания. Но в тот раз этого мне добиться не удалось, так как тверской ректор А. В. Соколов ни за что не соглашался отпустить меня в Москву. Я послал из Москвы телеграмму Победоносцеву, прося его разрешить мне читать пробные лекции в Московской семинарии, но этот переслал мою телеграмму в Тверь, на «заключение» ректора, который преспокойно «положил ее под сукно», так что я не был допущен к конкурсу. В 1883 <году> место преподавателя Св. Писания снова освободилось, и я уже с разрешения нового тверского ректора мог выступить в качестве конкурента на занятие означенного места. Впрочем, на этот раз я уже не имел конкурентов, потому что 12 человек, подавшие вместе со мною просьбу о допущении к пробным лекциям, не были для меня опасны, как не имевшие степени магистра, какую я получил еще в 1881 году: по действовавшему тогда уставу сначала читали пробные лекции магистры, а потом уже, когда бы все магистры были забаллотированы, открывался конкурс и для кандидатов. Так как у меня никакого соперника-магистра не было, то я был подвергнут баллотировке немедленно по прочтении 3-х пробных лекций и получил при этом относительное большинство голосов (8 из 14), что было вполне достаточно для цели. Таким образом, я оставил Тверскую семинарию и сделался преподавателем Московской, хотя нужно заметить, что и новый ректор Тверской семинарии хотел было так же, как и прежний, подставить мне ножку и настаивал на том,

чтобы я закончил в Тверской семинарии начавшийся уже учебный год.

При переезде в Московскую семинарию я застал ее в том же несколько запущенном виде, в каком она была еще при мне, когда я здесь учился. Квартиры преподавателей были довольно грязны, канализации еще не было, и все обитатели преподавательских корпусов довольствовались самыми первобытными ретиратами. Я получил квартиру — бесплатную и с казенными дровами — в двухэтажном доме, выходящем в Божедомский переулок, и состоявшую из трех довольно больших комнат, в которых и поместился сначала с матерью и сестрой, а потом жил с женою и дочерью до переезда в новый, построенный к 90-м годам деревянный дом, где у меня было уже пять хороших комнат. Заметить нужно, что при назначении квартир всегда принималось во внимание старшинство по службе, и часто одинокий преподаватель, но имевший наивысший стаж, занимал самую большую квартиру, тогда как молодые семейные преподаватели принуждены были помещаться в трех сравнительно небольших комнатах. Во всяком случае казенные квартиры с казенным же отоплением представляли величайшее благодеяние для преподавателей, и неудивительно поэтому, что в Московскую семинарию на каждое освобождавшееся место являлось множество кандидатов с тех пор, как устранена была выборная система (я был последним, поступившим по избранию) и на места преподавателей назначать стала канцелярия обер-прокурора. До сих пор для получения места в Москве нужно было ехать сюда на пробные лекции иногда из очень дальних краев России, а теперь достаточно было послать по почте просьбу о предоставлении места в Москве к обер-прокурору в Петербург и ожидать решения своей судьбы. Поэтому-то при каждом освобождении места в Московской семинарии обер-прокурора заваливали просьбами о назначении на это место, причем присоединялись ходатайства за просителей от разных архиереев и других важных лиц, так что Саблер однажды сказал одному из таковых просителей: «Э, батюш-

ка, в Московскую семинарию попасть труднее, чем в Царство небесное!»

Значительной приманкой для провинциальных преподавателей служили также две премии, учрежденные митрополитом Филаретом для наиболее усердных преподавателей по 320 р. каждая, и четыре «пособия» по 225 р. каждое, выдававшиеся из процентов с положенного на преподавателей фрейлиной Мухановой капитала. Таким образом, каждый год шестеро преподавателей, почти всегда в порядке очереди, получали довольно значительное вспомоществование к своему сравнительно невысокому казенному содержанию, о чем, конечно, хорошо было известно преподавателям духовно-учебных заведений всей России: нигде в других семинариях ничего подобного не существовало.

Наконец, в Москве каждому преподавателю открывалась возможность пристроиться или к какому-нибудь учебному частному, и даже казенному, заведению, или же войти в общение с редакциями разных издававшихся в Москве духовных журналов и писать статьи, которые всегда оплачивались. Из наших преподавателей один преподавал гражданскую историю в Екатерининском женском институте, другой — в Александровском, и третий — в Межевом, преподаватель психологии и педагогики — в женской учительской семинарии, и человека три-четыре — в женской гимназии Ежовой и в Филаретовском девичьем епархиальном училище. Некоторые преподаватели имели прибавочный заработок по должности секретарей в разных обществах и комитетах, так что действительно в общем провинциальные преподаватели имели достаточные основания к тому, чтобы всеми силами добиваться места в Московской семинарии.

Несравненно лучше в нашей семинарии была и нравственная атмосфера, чем в провинциальных семинариях, где люди жили более узкими интересами и где постоянно происходили разного рода нелады между преподавателями. Я слышал немало рассказов об этих неурядицах в жизни

провинциальных семинарских корпораций, а трехлетнее пребывание мое в Твери дало мне возможность ознакомиться поближе с тем, что делается с попавшими в сферу провинциальной обывательщины людьми, как-никак все-таки получившими высшее образование. В Твери при моем поступлении я застал в полном смысле войну уже между начальственными лицами — ректором и инспектором, возникшую, главным образом, на почве самодержавных поводов ректора, не стеснявшегося буквою семинарского устава, за которую всеми силами стоял инспектор. Корпорация преподавателей — очень большая, так как в Тверской семинарии обучалось около 800 учеников, — также разбилась на две партии, из которых одна, состоявшая из бывших учеников ректора, стояла на стороне последнего, а другая, очень немногочисленная, отстаивала точку зрения инспектора. Между обеими партиями кипела настоящая вражда, а битва переносилась иногда даже на столбцы местной газеты «Тверской вестник», так что и мне все время приходилось участвовать в борьбе, даже и тогда, когда в семинарии появился новый ректор, не сумевший так же, как и отставленный, сплотить корпорацию преподавателей в одну семью. В Московской семинарии жизнь шла совсем по-другому: все преподаватели жили в мире, а если и бывали среди них какие-либо пререкания по разным случаям, то они не заходили далеко, и можно определенно сказать, что московские преподаватели всегда поддерживали между собою довольно теплые отношения, сочувствовали друг другу в горе и радости, старались помочь чем можно семьям своих товарищей, как скоро смерть уносила кого-либо из их среды; они справляли друг другу юбилеи, а многие часто ходили друг к другу в гости, чтобы, главным образом, поиграть в преферанс или в винт. Иногда все совместно выписывали себе пищевые продукты по сравнительно дешевым ценам и добросовестно их делили между собою. Так, В. Ф. Комаров взял на себя покупку чая целыми цибиками, и мы все брали у него прекрасный чай примерно по 1 р. 50 коп. за фунт. Т. И. Протасов выписывал

вал для нас бочками с Кавказа вино, красное и белое, обходившееся нам копеек по 60 за бутылку. Была также производима «общественная» закупка муки во время войны, когда продажа муки и хлеба в булочных и магазинах была очень затруднена. «Общественные» обеды по разным случаям бывали по несколько раз в год и устраивались в наиболее обширных квартирах ректора, инспектора или кого-либо из преподавателей. По случаю именин обычно семейные преподаватели устраивали для «братии» пиршество с пирогами-кулебяками — утром для всех, а вечером для тех, кто любил посидеть за зеленым столом. Некоторые любители пения даже абонировались совместно на ложу в Большом театре, куда и направлялись (напр<имер>, я, Н.А.Любимов, А. П. Доброклонский, Д.А.Некрасов) с своими закусками и вином для подкрепления сил во время антрактов. В летнее время также посещали мы друг друга на дачах по случаю именин. Наприм<ер>, живя в Богородском, я справлял свои именины, приходившиеся на 9 мая, и ко мне приезжали мои сослуживцы покушать пироги и погулять в лесу. Приезжали также ко мне некоторые из сослуживцев и поиграть в винт или преферанс, так как сообщение между Москвою и Богородским было довольно удобное. К Н. А. Любимову, помню, в с. Троицкое-Кайнарджи мы целой компанией езжали даже «в ночевку» и оставались у него дня по два, будучи опять-таки увлечены игрою в винт. У ректора, Н. В. Благоразумова, на его именинах 6 декабря, совпадавших с храмовым семинарским праздником, мы угощались разными доморощенными сладкими наливками, а иногда обедали у церковного старосты, богатого купца Н. А. Балина. На Рождество и Пасху, после поздравления ректора с праздником и угощения, мы ходили друг к другу по квартирам, чтобы поздравить хозяек, у кого таковые были, и иногда оставались в наиболее «гостеприимных» местах и обедать, чтобы тотчас после обеда засесть играть в винт или преферанс. Наконец, наша учительская «сборная» служила нам местом взаимного общения не только между уроками, но

и в праздники, когда мы приходили в семинарию ко все-нощной и обедне, и, по правде сказать, мы больше проводили время в сборной, чем в церкви, откуда мы обычно «удирали» — за всенощной после Евангелия, а за обедней после «Отче наш». Тут у нас поднимались самые оживленные разговоры по поводу семинарских и несеминарских дел, шел обмен мыслями по поводу прочитанного в газетах и журналах, которые, кстати сказать, мы выписывали в складчину — словом, образовывался домашний семинарский клуб, в который иногда заходили и посещавшие семинарию гости из Петербурга — В. К. Саблер, М. А. Остроумов (ревизор) и нек<оторые> другие. Кроме того, нас сближали между собою и прогулки в прекрасном и обширном семинарском саду, где, после того как ученики уходили спать, преподаватели частенько прогуливались с своими семьями. На празднование академического праздника 1 октября и праздника основания семинарии 1 ноября мы приглашали наших товарищей из среды московского духовенства и устраивали братский обед, в котором принимали участие даже и архиереи-викарии, бывшие воспитанники или профессора академии и семинарии. 1 ноября в семинарском зале после обедни устраивался и торжественный «акт» в присутствии митрополита. Такие же акты, более или менее пышные, устраивались в этом зале по случаю двадцатилетних юбилеев начальствующих и учащих семинарии, с поднесением юбиляру иконы и с обедом после акта, на что юбиляр обычно отвечал также обедом или в ректорской квартире, или в помещении кондитера Бурдина, находившемся поблизости к семинарии. Так, свой ответный обед я устраивал именно у Бурдина, где мы оставались до вечера, занявшись обычным нашим увеселением — игрою в винт. Когда кто-либо из служащих в семинарии женил сына или выдавал дочь замуж или, наконец, сам вступал в брак, то обыкновенно приглашались «на бал» или «на обед» и все преподаватели с их женами. Я, например, устроил свой свадебный обед в Таганке, в кондитерском помещении, Н. И. Кедров тоже в кондитерском по-

мещении на Брестской улице, А. И. Цветков, женившийся сына, разошелся до того, что нанял самое лучшее помещение для бала — И. М. Кузина на Водоотводном канале. Некоторые преподаватели, по неимению средств, женились «под сурдинку» и никаких приглашений на свадьбу не рассылали, но потом все же ходили с своими супругами по квартирам своих сослуживцев со свадебным визитом. Точно так же и на поминки по своим умершим супругам преподаватели приглашали всех сослуживцев, а в случае смерти самого преподавателя на погребение его и на поминки отпускаясь одна из так называемых Мухановских (из денег, пожертвованных в мое время фрейлиной Мухановой в пользу преподавателей и учеников) «премий» и «пособий». Похороны своих умерших сослуживцев мы устраивали всегда с большой помпой, с речами над гробом и над могилой, и все это печальное торжество изображали потом в местном церковном органе «Московские церковные ведомости». В случае каких-либо несчастий, постигавших семью преподавателя (болезнь и смерть детей), мы обыкновенно также выделяли в его пользу одну из Мухановских премий (225 р.), которая оказывала этой семье существенную помощь. Но в обычном течении жизни на премии соблюдалась строгая очередь, впрочем, определяемая каждым из нас в нашем сознании по-своему: одни полагали, что получать премию должен при равных условиях старший по службе в Московский семинарии, другие находили справедливым держаться принципа старшинства службы вообще, и не в Московской только семинарии, наконец, иные были убеждены и убеждали других в том, что премию должен получить прежде всего тот, кто ее еще все не получал, но, по исполнении двухлетнего срока службы в Московской семинарии, имел право баллотироваться на премию. В самом «Положении» о премиях пункт о «праве» на премию не был достаточно выяснен, и потому, обычно на Рождество (премии выдавались к Рождеству), всегда кто-нибудь чувствовал себя обойденным. Иногда даже обиженный тем, что ему не выдали первую заслу-

женную им, по его убеждению, премию, демонстративно уходил из собрания правления и долго дулся на сослуживцев, хотя ему в большинстве случаев тут же присуждалась вторая или третья премия, и фактически он ничего не терял. Совсем не получившие, хотя и имевшие право на премию даже иногда заливали горе вином на следовавшей за баллотировкой пирушке и изливали свою обиду пред кем-либо из более к ним близких товарищей, хотя и не могли знать, кто именно виноват в том, что их обошли, потому что баллотировка была закрытая. Пирушки в первое время моей службы устраивались обыкновенно каждым, получившим премию (а премий всего — Филаретовских и Мухановских — было шесть), но потом премированные, найдя, что каждая пирушка в отдельности требует чуть ли не трети всей суммы премии, стали устраивать общее угощение от всех шестерых счастливых, причем уже пир устраивался *en grand**, так что была возможность всем быть сытыми и пьяными или, по крайней мере, на втором взводе...

Что касается умственного и нравственного уровня моих сослуживцев по семинарии, то его можно назвать «средним». У нас не было «звезд» в умственном отношении, но, во всяком случае, большинство преподавателей были достойны занимаемых ими мест и немало сделали для семинарии полезного. Из старых преподавателей, у которых я сам учился, со мною служили и магистры, и кандидаты, преподаватели умные и опытные, как, например, Н. П. Комаров, продолжавший преподавать философию, психологию и педагогику, Т. И. Протасов, преподаватель геометрии и физики, А. В. Никольский и М. В. Модестов, хорошие латинисты, сумевшие вбить в головы семинаристам необходимую им латинскую премудрость, преподаватель греческого М. В. Никольский, перешедший вскоре после моего поступления в Московскую семинарию на службу в Управление печати. Но были из «стариков» и такие преподаватели, которым следовало бы

* на широкую ногу (*фр.*).

тотчас по выслуге пенсии за 25 лет оставить свои места, для которых они явно не подходили. С. Д. Рождественский, еще преподававший нам словесность в 1870 году, имел большие дефекты в произношении (вместо «словесность» он, напр<имер>, произносил «шерошивешть»), а некоторых ученических фамилий совсем не мог выговорить более или менее внятно), которые мешали ему и позднее, когда он сделался преподавателем догматического богословия. Притом объяснения к урокам он вел по каким-то попавшим ему в руки старым академическим лекциям, которые читал с кафедры так же невразумительно. В. Ф. Комаров, преподававший алгебру и тригонометрию, положительно не имел никакого педагогического таланта и распускал своих учеников донельзя, угрожая им только при слишком большом с их стороны шуме прямо кулаками. Как мы, так и наши преемники по слушанию его уроков ничему от него не научились, хотя часто получали за ответы пятки. Брался он также за преподавание церковного пения, но и из этого дела у него ничего не выходило: ученики его не понимали, а он на них кричал и сердился даже в церкви, во время службы, когда он руководил «левым» клиросом. Хотя им сдавались «записки» по алгебре, но в этих «записках» редко кто-нибудь что понимал, и о них упоминалось в ректорских отчетах больше «для фасона». А. С. Лебедев, преподаватель всеобщей и русской гражданской истории, делал из двух-трех учебников истории — Иловайского, Рождественского и Цветкова — какой-то новый, «размечая» эти учебники так, что приходилось в каждый урок запоминать пять строк из одного, шесть из другого, семь из третьего. Напр<имер>, о Гогенштауфенах начало отмечалось по учебнику Рождественского, середина — по Цветкову, а конец — по Иловайскому, что, конечно, выходило какой-то кашей или белибердой, которую должны были переваривать бедные ученики. История, конечно, преподавалась им по-старинному, как перечень разных «событий»: войн, союзов, изменений в составе государств, с точным соблюдением и изучением хронологических дат, незнание

которых со стороны ученика представлялось учителю ужаснейшим и достойным оплакивания невежеством. Никакого социального фактора в истории он не видел сам и не мог указать своим слушателям, так что в его преподавании получалась «история хуже географии». И. Е. Любимов, преподаватель истории русской литературы, тоже ограничивался задаванием по книжке «от сих до сих» и требовал только знания биографических данных, причем считал достаточным преподавать историю словесности только кончая Гоголем. Он и в класс ходил с большим опозданием, больше занимаясь в семинарском саду наблюдением за тем, чтобы семинаристы не портили деревьев и не бросали сучьев в очищенные семинарские пруды, по берегам которых он иногда гонялся с палкой за учениками, позволявшими себе кидать издали в воду камушки или сучочки. Н. В. Беляев, у которого еще я учился всеобщей и русской церковной истории, был человек болезненный и вялый в деле преподавания, да, кажется, и недостаточно осведомленный в своем предмете, так что, как об этом говорил я и раньше, иногда наиболее смелые ученики указывали ему на сделанные им в объяснении урока ошибки. Д. Г. Фаворский, преподаватель греческого языка, также был человек крайне вялый, говоривший едва слышным голосом и обращавший внимание только на грамматические правила. Впрочем, я на его уроках не был и сужу о методе его преподавания только по экзамену, на котором я у него был. Не знаю, что сказать и о М. И. Соболеве, моем сотоварище по кафедре, потому что на уроках его не присутствовал. Если же судить о методе его преподавания по изданному им «пособию» для изучения пророческих книг Ветхого Завета, то можно определенно утверждать, что сей магистр богословия (был впоследствии протоиереем в Храме Спасителя) был в науке о Св. Писании человек самый отсталый, не умевший объяснить трудное место из пророков на основании филологических соображений и контекста речи и не стеснявшийся в своих крайне натянутых архиертодоксальных токованиях делать ни на чем не основанные предполо-

жения. Книжка его, которою пользовались и мои ученики, когда я после него стал преподавать и объяснение пророческих книг, кроме того, составлена крайне небрежно и в литературном отношении, так что положительно не годилась к употреблению и шла пока в ход потому только, что она была при Соболеве закуплена для библиотеки учеников в большом количестве экземпляров. Из других же старых преподавателей никто и не пытался «издать» какое-либо пособие по своему предмету, и только Н. П. Комаров еще во время моего обучения в семинарии сдавал литографированные записки по обзору философских учений, да еще так рано сошедший в могилу, мой предшественник по кафедре, Д. П. Боголепов написал солидное, хорошее руководство по изучению Четвероевангелия, которым все время пользовались с успехом ученики 5-го класса, попытка же его преемника, а моего ближнего предшественника по кафедре Св. Писания И. И. Соловьева, ввести вместо боголеповского руководства свои «записки» оказалась «покушением с негодными средствами»...

Что касается новых преподавателей, поступивших на места убылых, — или вышедших в отставку по выслуге пенсии, или скончавшихся во время нахождения на службе в семинарии, — то в общем эти педагоги стояли выше своих предшественников. Из нашего курса в Московскую семинарию попала целая тройка преподавателей — я, Н. А. Любимов и А. П. Доброклонский. О своей работе я уже сказал и прибавлю только, что она нашла одобрение со стороны двух бывших у нас синодальных ревизоров — П. И. Нечаева и М. А. Остроумова. Н. А. Любимов (впоследствии протопресвитер Большого Успенского собора) был отличным преподавателем словесности, знакомил учеников с лучшими произведениями нашей литературы и прекрасно читал эти произведения, имея красивый, сочный голос (баритон). А. П. Доброклонский (впоследствии ординарный профессор Одесского университета) преподавал церковную историю также успешно и написал даже хорошее руководство по русской церковной истории. Хорошо также знал свой

предмет его преемник, А. И. Покровский (впоследствии профессор Киевского университета), хотя, может быть, иногда и слишком увлекался в изображении исторических событий с либеральной точки зрения, за что впоследствии в бытность свою профессором в Московской академии и пострадал. Преемник Н. П. Комарова по кафедре философии и «соединенных с одной наукой», М. О. Вержболович хорошо знал свой предмет и даже издал «записки» по психологии и дидактике. С. П. Никитский, преподаватель нравственного богословия, много работал над своей наукой и издавал свои «записки», да кроме того напечатал немало и других своих трудов. С успехом вел преподавание философии и преемник М. О. Вержболовича П. М. Минин, ранее некоторое время преподававший догматическое богословие. Мой коллега по кафедре, учившийся у меня еще в Тверской семинарии, М. И. Струженцов отлично знал свой предмет и умел его преподавать. Им напечатано несколько работ его по толкованию Евангелия. Н. Г. Попов (впоследствии профессор богословия в Инженерном училище), преподававший латинский язык, и Н. И. Кедров, преподаватель греческого языка, также добились того, что их ученики довольно хорошо знали эти языки. Нечего говорить о том, что поступившие на места прежних преподавателей математики: скончавшегося на службе В. Ф. Комарова и умершего в отставке Т. И. Протасова — головою были выше своих предшественников. Это были кандидаты математического факультета Московского университета С. Н. Светодовидов и М. М. Преферансов. Что касается введенной только в 1881 году науки учения о расколе и обличения сектантства, то первый преподаватель этой науки Х. К. Максимов (впоследствии протоиерей в Москве) был субъектом с большими странностями и не пользовался авторитетом среди учеников, которые немало издевались над его манерою говорить, его рассеянностью и не любили его за его излишнюю требовательность, так как он признавал необходимым буквальное изучение различных старопечатных текстов. Бывали случаи, когда после сдачи экзамена

ученики устилали весь коридор семинарский разорванными на отдельные листы «записками» по расколу, составленными Максимовым, и делали в отношении к нему разные неприличные выходки, на которые тот жаловался начальству, прося о наказании «преступников». Преемник Максимова, маленького, тщедушного человечка, Д. А. Некрасов был мужчина высокого роста, внушительного вида и покорял учеников силою своего характера, так что те и нехотя учились по его предмету как следует. Преемник И. Е. Любимова по кафедре словесности (раньше преподававший гомиетику) А. П. Десницкий, постарше меня тремя курсами, был мало осведомлен в своей науке и далек был от современного ее движения, но тем не менее общие сведения о ней умел сообщить учившимся у него воспитанникам первого и второго класса. А. В. Зверев, человек, несомненно, очень умный и даже остроумный, переменил несколько кафедр и не успел как следует ознакомиться с предметами, преподавание которых брал на себя: он был рано похищен смертью. Д. М. Минервин, преподававший библейскую и церковную историю, не отличался критическим чутьем и больше занимался с своими учениками «размазыванием» чудес в истории мучеников, будучи в этом случае антиподом двум другим преподавателям церковной истории, Доброклонскому и Покровскому, которые, как я уже говорил, ставили преподавание на научную почву. При этом он отличался необычайною снисходительностью к малоуспевавшим ученикам, всячески стараясь «натянуть» и самым большим лентяям удовлетворительный балл. Когда справлялся его юбилей, я сидел за юбилейным обедом рядом с членом правления от духовенства протоиереем Разумихиным. Последний в конце обеда стал говорить речь, в которой превозносил Д. М-ча за его доброту, снисходительность к ученикам, когда же я шутя сказал ему по окончании речи, что и я буду так же щедр на баллы, как Д. М-ч, Разумихин схватил меня за рукав и сказал: «Нет, нет, зачем же?! Ставьте баллы по совести», показывая этим, что его хвалы Минервину были только юбилейным *façon de*

*parler** — не более. Антиподом Минервину был и преподаватель гражданской истории С. И. Кедров, хороший знаток своего предмета, умевший как следует осветить историю государства и понимавший толк в политике. Он напечатал немало серьезных трудов по русской истории в разных исторических журналах. Н. А. Виноградский, занимавший сначала кафедру обличительного богословия, потом стал преподавать математику, к которой его больше тянуло, и продолжает преподавание математики и до сих пор. В. П. Протопопов был дельным преподавателем истории литературы, как равно и Д. И. Введенский, перешедший незадолго перед началом мировой войны на службу в Московскую духовную академию. Мало как-то были заметны другие преподаватели: Н. В. Наумов, П. В. Дмитревский, П. В. Полянский, А. Н. Заозерский, Е. Н. Орлов. Из преподавателей иностранных языков выделялся учитель немецкого языка К. К. Иогансон, автор довольно ходовых учебников, французы же у нас как-то не приходились ко двору и испытывали немало издевательств над собою со стороны учеников: мы, русские преподаватели иностранных языков, пользовались несравненно большим авторитетом в глазах учеников, которые более нас понимали, чем иностранцев, и более успевали в знании языков, исключая, конечно, учеников Иогансона, который прекрасно говорил по-русски и умел преподавать свой предмет, пользуясь в глазах учащихся достаточным авторитетом. Недолго еще был в нашей семинарии преподавателем истории перешедший из Томска А. И. Дружинин, но его преподавание истории было гораздо менее успешным, чем его предшественника С. И. Кедрова.

Отметить нужно, что у нас никогда не бывало никаких собраний по выработке лучших методов преподавания. Мы много рассуждали о постановке дела ученических сочинений, о повышении их успехов в изучении разных предметов, о разных событиях в ученической жизни, но серьезно

* оборотом речи (*фр.*).

взяться за методику преподавания нами предметов никто и не думал. Напротив, все боялись, как бы не обидеть товарища каким-нибудь замечанием по поводу того, что казалось нам в его преподавании не совсем ладным, и если что и «судачили» о некоторых, уж чересчур халатно относившихся к своему делу преподавателях, то старались о том, чтобы это «не дошло» до них, — ведь они могли разобидеться и показать свой ученый «гонор».

Что касается нашего нравственного уровня, то опять-таки в общем его похулить нельзя. Мы были люди как люди, и ничто человеческое нам не чуждо. Были, конечно, в нашей манере держать себя некоторые дефекты, довольно неуклюжести и грубости в обращении с товарищами, но зато имелись и образцы истинного христианского смирения, скромности и ласковости, какими отличались, напр<имер>, С. Д. Рождественский и М. О. Вержболович, не обидевшие, кажется, никогда никого из своих сослуживцев ни одним словом. Нельзя умолчать о некоторых резких столкновениях между нами, происходившими на почве различия в политических взглядах. Мне, напр<имер>, как стороннику конституции случалось не раз «сцепляться» с сторонниками «твердой власти» и, в частности, самодержавия как царского, так и бюрократического. Помню, как я спорил с Д. А. Некрасовым, когда тот, защищая самодержавие в эпоху работы Государственной Думы, ругал думских ораторов, говоривших против министров, и мотивировал свои выпады против этих ораторов тем соображением, что депутаты «едят казенный хлеб», т. е. получают содержание от правительства. Когда Некрасов с каким-то «смаком» выпалил афоризм: «Чей хлеб ешь, тому и поработаешь!», я горячо стал доказывать ему, что депутаты — представители народа, а не правительства, что и само правительство «ест хлеб» народный и что поэтому на него вовсе нет основания смотреть как на какого-то нашего «благодетеля». Я говорил, что если мы и пользуемся содержанием от народа, то потому, что служим ему, а не министрам, и что было бы явной несправедливостью, если

бы депутаты выступали в роли защитников правительственных законопроектов, когда последние идут вразрез с интересами народа. Но, по-видимому, мои речи нисколько не убедили упорного сторонника правительственных чиновников, и он продолжал упорно «гнуть свою линию», которую в то время довольно хорошо характеризовали прогрессивные газеты названием ее «линией — чего изволите?», которой держался всегда известный издатель «Нового времени» Суворин, пред коим Некрасов и *tutti quanti** преклонялись (газету Суворина у нас даже выписывали на казенный счет). Не один раз у меня бывали столкновения в нашей учительской комнате и с некоторыми другими, которых, впрочем, было немного, сторонниками черносотенного или, по меньшей мере, архиконсервативного направления. Так, помню, как мне пришлось «отчитать» одного молодого преподавателя за то, что он неуважительно отозвался о народных представителях по случаю суда над председателем Думы С. А. Муромцевым и другими «выборгцами». Одобрив решение правительства предать Муромцева с товарищами суду, он при этом довольно зло прибавил: «Так ему (Муромцеву) и нужно, а то зазнался очень, вылезши из грязи в князи!». Возмущенный этими словами, я показал молодому черносотенцу, что та «грязь», из которой вышел Муромцев, была «настоящим золотом», что он — народный избранник, и наш в частности (впрочем, наши черносотенцы, конечно, баллотировали не за «партию народной свободы», как большинство из нас), которого нам следует всячески поддерживать, а не «лягать своим копытом»...

Немало было дикого человеконенавистничества в воззрениях наших доморощенных архиконсерваторов на так называемые нацменьшинства — еврейское, армянское. От отзывов, какие слышались нередко из уст этих людей, напр<имер>, о евреях, я и некоторые сочувственные мне преподаватели прогрессивного направления приходили

* все тому подобные (*um.*).

прямо в возмущение и с жаром доказывали, что всякая народность России имеет право свободно участвовать в общественном строительстве, не будучи стесняема какою-либо чертою оседлости. Но наших «толстокожих» переубедить было невозможно, и они так и оставались с своими архаическими взглядами на «жидов» и «армяшек», какие обычно проводились в черносотенных газетах. Впрочем, надо отдать и справедливость моим антагонистам в области решения вопроса о евреях: они не жаловались никогда на меня и на моих единомышленников никакому начальству, ни нашему, семинарскому, ни начальству вообще, и мне по поводу моих высказываний в учительской сборной никогда никаких «предупреждений» не было. Во всяком случае, нравственное чувство у наших консерваторов было еще настолько высоко, что, конечно, не позволило им прибегнуть к каким-либо интригам и оговорам своих сослуживцев. Спорить — мы спорили, даже, может быть, заходили слишком далеко за пределы «парламентарного» обсуждения политических вопросов, но товарищеские отношения не прерывали, что выгодно отличало корпорацию Московской семинарии от корпорации преподавателей Тверской семинарии, где разница во взглядах на дела внутренней политики вела даже нередко и к прекращению товарищеских отношений...

Не совсем корректно держали себя некоторые из нашей среды по отношению к общепринятым у нас обычаям, которые давно уже установились «по молчаливому соглашению». Так, например, преподаватели ни при встречах в сборной комнате, ни при получении благословения от ректора за богослужением, когда тот стоял у иконы посреди церкви и благословлял молящихся после того, как те «прикладывались» к иконе, никогда не целовали у него «благословляющую десницу», ограничиваясь простым поклоном. Между тем человека два-три из наших находили нужным непременно облобызать руку о<тца> ректора (архимандрита), ставя этим в неловкое положение тех из нас, кто подходил к иконе после них. Когда мы указывали этим

нашим «руколизам» на нетактичность их поступка, те отвечали, что они делают это исключительно из почтения к ректору как к духовному лицу. Им было ставимо на вид, что ректор остается духовным лицом и в учительской комнате, и в заседании правления и что они, однако, и там и здесь ограничиваются при встрече с ним простым рукопожатием, но наши «руколизы» упорно стояли на своем, не понимая как бы, что в данном случае они поступают не по-товарищески. Очевидно, что у них под видом «благочестия» проводилась тонкая «политическая» линия, и их «руколизание» казалось им очень подходящим средством добиться ректорского расположения, которое во всяком трудном случае могло им пригодиться*...

Была у нас и еще довольно неблагоприятная привычка сваливать бремя чтения ученических сочинений на кого-либо из товарищей. Сочинений у нас ученики писали много, и некоторые подавали даже целые тетради исписанной бумаги, исправление которых по всем правилам словесного искусства требовало немало времени. Поэтому в правлении при начале каждого полугодия разыгрывались целые сцены взаимных препирательств из-за того, кому взять на себя чтение «лишних» сочинений. Слышались при этом довольно «жалкие» слова о «перегруженности, о «болезненности» и тому подобных обстоятельствах, мешающих принять на себя лишний груз, а иногда дело доходило до того, что человек, которому все-таки «навязывали» лишние, по его мнению, сочинения, демонстративно оставлял залу заседания, как в высшей степени из-

* У нашего преподавателя С. И. Кедрова я видел небольшую картинку, написанную на эту тему одним художником. На картинке изображен выходящий из бани в предбанник наш ректор Н. В. Благоразумов, совершенно голый, а перед ним стоит бросившийся к нему для испрошения благословения успевший уж одеть белье наш старик преподаватель рисования Астапов, благоговейно простирающий пред обнаженным начальником своим положенные одна на другую ладони. Картинка эта возбуждала смех у всех, кому ее показывали...

обиженный. В последние годы существования семинарии стали вводить в расписание сочинений даже задачи по древним языкам, чтобы как-нибудь заткнуть прорехи, которые образовывались в таблице сроков сочинений, не обращая внимания на то, что преподаватели классических языков ограничивали даваемые ими ученикам «переводы» с русского одной страничкой и что это упражнение в переводе с русского уже ни в коем случае не может считаться «русским сочинением». Тут всякий из нас в душе говорил: «*Mea culpa, mea culpa maxima!*» (грешен, очень грешен!). А бывали случаи, когда даже некоторые сочинения «залеживались» и оставались не сданными ученикам, так что только к самому экзамену иногда ректору удавалось вытерпеть у преподавателя хоть только список с отметками по сочинениям, и эти отметки все же вносились в ведомость об успехах учеников. Такие факты, конечно, не свидетельствовали о достаточном сознании некоторыми преподавателями своих обязанностей и могли быть отчасти извиняемы разве только болезнью того или иного не сдавшего сочинений ученикам преподавателя...

Продолжая раскрывать историю наших «грехопадений», я должен остановиться еще на одном, в котором было немало повинных и «от них же первый есмь аз!». Это грехопадение — излишнее увлечение карточной игрой, которая, можно сказать, часто совсем затягивала меня и немало количество моих товарищей. Главным знаменем, под каким мы собирались в 90-х–900-х годах вечерами по квартирам, а иногда, в праздничное время, и пред обедом, был винт, сменивший собою царствовавший в 80-х годах в нашей компании преферанс. У нас был вполне сложившийся кружок винтеров, в который входили как постоянный состав: я, Струженцов, Дружинин, Дмитриевский, Виноградский — и как временные участники: Минин, Пospelов, Ястребцов (инспектор), Преферансов, Аллеманов (учитель пения) и нек<оторые> другие. Впрочем, в 90-х и начале 900-х годов лавры «начальника винтового штаба» разделяли со мною мои соседи по квартире — Лю-

бимов и Доброклонский, а в числе наших партнеров довольно большое постоянство обнаруживали семинарский врач В. П. Доброклонский и врач Марьинской больницы Каптерев, лечивший детей у Любимова и обыкновенно остававшийся после осмотра маленького пациента и для развлечения большого «пациента», хозяина квартиры Н. А. Любимова. Когда квартиру Любимова, вышедшего во священники, занял А. П. Доброклонский, жена которого также любила играть в винт, то его квартира сделалась после моей вторым штабом винтеров, и Доброклонский из угождения своей супруге часто нехотя участвовал в нашей игре «пьятым», занимаясь во время выхода из игры писанием своего докторского сочинения о Феодоре Студите, которое разложено было у него на конторке в том же кабинете, в каком происходила винтовая игра. Смешно было смотреть, как А. П-ч одной рукой держит карты, а другой — греческий текст творений Студита, посматривая в него, пока его контрапартнер раздумывает, в чем назначить игру. За винтом иногда мы просиживали целыми часами, до глубокой ночи, все доигрывая «последний, ну право же, последний кружочек». Конечно, в этой игре имела значение не материальная сторона, не желание игрою поправить свои «финансы», а просто «умственность» игры, разные штуки и подходы к психологии партнеров, которых иногда удавалось поймать на «шлеме» без трех или заставить отступить от своей «верной» игры и дать играть контрапартнерам. Игра в винт, действительно, представляла иногда самые большие неожиданности, и победа часто являлась результатом особой «быстрой сообразительности и натиска», что нас особенно и увлекало. После винта, а иногда даже и во время оно, мы «прикладывались к рюмочке», хотя никогда никакого излишества в этом деле себе не позволяли. Но каяться — так уж каяться как следует! Некоторые преподаватели, в том числе и я, играли нередко и в азартные игры, засиживаясь при этом чуть ли не до рассвета. «Банчок», «стукалка», «трынка» иногда начинались тотчас после окончания шести обязательных робберов винта, и

нельзя сказать, чтобы случавшийся в эту игру проигрыш не портил у нас расположения духа, потому что, в самом деле, было крайне жалко в какой-нибудь час потерять то, что заработано было в течение нескольких недель. Помню, как я ругал себя, отдавши в течение полчаса 40 р. денег, полученных мною за статью о Ренане, заключающую в себе более 30 печатных страниц, которую я писал около месяца. Это было за «стукалкой» у Любимова, в которую я, собственно, не умел играть и сел, чтобы только «составить компанию» с лицами, мне малознакомыми. В этих азартных играх принимали участие, впрочем, немногие преподаватели, и, конечно, остальные, воздерживавшиеся от игры, поступали хорошо, сохраняя и время, и деньги. Впрочем, в 900-х годах азартные игры у нас почти вышли из моды, и мы в упомянутой выше компании всецело предавались одной только игре — в винт. Замечу, что ученикам, конечно, было известно наше увлечение картами, и они между собою посмеивались, когда я, например, проявлял некоторую строгость в оценке их ответов, и говорили, — так слышал я на стороне, — что «вчера Н. П., должно быть, проигрался — очень уже сегодня был придиричив»...

Отметить также нужно, что мы держали себя не совсем хорошо за богослужением в семинарской церкви, куда были обязаны являться в праздничные дни и где позволяли себе по временам потихоньку беседовать между собою о предметах, совсем не связанных с молитвами, какие читались и пелись за богослужением. Некоторые же, в том числе и я, старались «улизнуть» в середине всенощной или к концу обедни в «сборную», чтобы там, уже на свободе, поговорить между собою о разных новостях или почитать газеты, а иные и вовсе не ходили в церковь, проводя вечер или утро дома за чтением ученических сочинений, которых иногда у нас накапливалось целые груды. Ректора-монахи, конечно, раздражались таким забвением с нашей стороны одной из главных обязанностей наставников духовного юношества и иногда даже заявляли нам об этом своем

неудовольствию официально. Так, ректор Трифон (ныне митрополит «без кафедры») однажды, помнится, чуть ли не чрез инспектора прислал нам «выговор» за то, что мы не были за молебном в какой-то царский день, в чем он усмотрел проявление антимонархического настроения преподавателей. Это властное выступление, однако, поставило самого Трифона в неловкое по отношению ко всей корпорации преподавателей положение, и он уже более не появлялся среди нас в сборной комнате, проходя на свои уроки мимо нас и как бы не желая поддерживать с нами никакого общения. Поэтому-то и на прощальном его служении в семинарской церкви, пред посвящением его в архиереи, огромное большинство преподавателей отсутствовало в церкви, так и не простившись с своим начальником. Последний ректор — Сергей — возмущался отсутствием преподавателей при богослужении только за глаза, в беседе с постоянными посетителями церкви — помощниками инспектора, а никаких явно агрессивных действий против пренебрегавших своими обязанностями религиозными преподавателей не предпринимал.

Что касается начальственного и воспитательского персонала в Московской семинарии за рассматриваемое время, то он в разные периоды был неодинаков, и отношения его к нам, преподавателям, были весьма различны. Н. В. Благоразумов, о котором я уже имел случай говорить, держался с нами на товарищеской ноге, и никогда ни он, ни мы не проявляли в отношении друг к другу иных отношений, кроме чисто дружественных. Напротив, с преемником его, архимандритом Климентом, у нас сначала были нелады, так как он, по молодости лет и монашеской напористости и самомнению, думал сразу перевернуть все наши стародавние порядки, какие синодскому начальству, пославшему в Москву Климента, приходились не по нутру. То обстоятельство, что Климент в первый год своего поступления в нашу семинарию разорвал составленное секретарем правления и переписанное письмоводителем «представление» об очередных наградах преподавателям, о чем

нам стало известно, побудило нас всех, целой корпорацией, пойти к Клименту на квартиру и там потребовать от него объяснений его некорректного поступка. Такое коллективное выступление смутило Климента в высшей степени, и он стал говорить, что-де это все неправда, что он не разрывал представления и что все дело письмоводитель изобразил не так, как было. После этого Климент письмоводителя уволил, а с преподавателями стал обращаться уже совсем иначе, чем сначала, так что мы жалели его, когда скандал, произведенный в его саду какой-то ранее близкой ему в Петербурге женщиной, повел его к перемене места ректора в нашей семинарии на место начальника миссии в Риме*. Были стычки у нас, и у меня в частности, с преемником Климента Парфением, но эти стычки быстро кончались примирением, и Парфений был у нас принимаем с полным радушием, какое и с его стороны было проявляемо в отношении к преподавателям и их семействам**. Хорошие отношения мы поддерживали и с остальными нашими ректорами — Анастасием***, Борисом****, Филиппом*****, Сергием*****, хотя опять-таки с первым и последним частенько приходилось спорить по разным вопросам семинарской педагогики. Несколько обострены были отношения с ректором Феодором***** у некоторых преподавателей, но и этот ректор все же в общем не выходил за границы добрых товарищеских от-

* Климент вскоре после этого сделался епископом Кам<енец>-Подольским, но заболел, был уволен на покой и умер в Даниловом монастыре в Москве.

** Парфений был впоследствии викарием в Москве, а потом епископом Тульским и умер на родине в Полтавской губ<ернии> после революции.

*** Анастасий был викарием в Москве, потом епископом Холмским. В настоящее время он находится за границей.

**** Борис — архиепископ Казанский.

***** Филипп — архиепископ Крутицкий, в Москве.

***** Сергей — архимандрит, умер после революции.

***** Феодор — епископ Волоколамский, в Москве.

ношений, несмотря на то, что по своему черносотенному ультрааскетическому настроению он не мог относиться равнодушно к проявлявшемуся с нашей стороны либерализму.

Инспектора также не проявляли каких-либо стремлений подавлять нас своим начальственным авторитетом. А. И. Цветков дослуживал уже свой пенсионный стаж высшего ранга и был с нами всегда ласков и по-товарищески разделял с нами трапезу. Преемник его, племянник митр<ополиита> Сергия, Д. И. Скворцов, довольно неуклюжий бурсак, был, во-первых, моложе нас почти всех и, во-вторых, страдал запоями, отчего авторитет его стоял довольно невысоко в нашей среде. После того как он где-то в ресторане, находясь «на втором взводе», сильно накуролесил и был взят в полицию, которая и сообщила ректору, что какой-то пьяница называет себя инспектором семинарии Скворцовым, его песенка оказалась спетой, и он был переведен на место преподавателя в одну из провинциальных семинарий. Занявший место инспектора после Скворцова С. З. Ястребцов, как двоюродный брат митрополита Владимира, очень импонировал своим положением *persona grata** и играл вообще первую скрипку в семинарском оркестре, даже заставляя и ректоров подчиняться его авторитету. Впрочем, он поддерживал с преподавателями товарищеские отношения, поигрывал по маленькой иногда с нами в винт и приглашал нас всех в свою обширную квартиру на свои именины, а некоторых, главным образом своих партнеров по винту, и в именины своей супруги, как и сам с женой всегда принимал приглашения от нас, именинников, «на пирог». В силу таких товарищеских отношений мы все, преподаватели, даже раз покривили душой, отправивши свою отповедь в газеты, напавшие на Ястребцова за излишнюю строгость, какая повела одного ученика, свершившего серьезный проступок против семинарской дисциплины, к самоубийству. Упоминаю об этой

* лицо, пользующееся доверием (*lam.*).

отповеди как о нашем «прегрешении», потому что на самом-то деле едва ли кто из нас сомневался в том, что «Захарыч» (как звали инспектора ученики) действительно перешел границы в застрашивании упомянутого несчастного ученика, кажется, бывшего еще только в 3-м классе, и запугал его настолько, что тот, опасаясь увольнения из семинарии и боясь угрожающих ему репрессий со стороны строгого отца своего, бросился под поезд (а не «случайно» попал под него, как гласила официальная версия сообщения о смерти ученика). Ястребцов был ярким защитником монархизма в государстве и церкви и защищал самодержавие архиерейское всеми силами.

Помощники инспектора, которых в нашей семинарии в последние годы ее существования было целых четверо, не принадлежали к числу «начальствующих» и сами на себя, да и мы также, смотрели как на какую-то полицейскую охрану семинарии, которая исключительно наблюдала за внешним порядком. Они все принадлежали к нашей компании, и мы настояли даже на расширении их прав в дележе так называемых Мухановских пособий, которые, собственно, по уставу предназначались только для преподавателей. Им давались иногда уроки, остававшиеся свободными, чтобы не приглашать лишних преподавателей, так как такое приглашение могло повредить наличным штатным преподавателям, заставив их и от своих уроков некоторое количество уступить новоприбывшим членам преподавательской корпорации. Конечно, впрочем, это не всегда гарантировало преподавателей от каких-либо нежелательных выступлений помощников инспектора, и последние в некоторых конфликтах начальства с преподавателями держали большею частью сторону начальства, от которого непосредственно зависели. Что касается простых надзирателей, которых до введения института наставников-воспитателей было очень много, а после упомянутого введения оставалось только двое, то с ними преподаватели никаких отношений не поддерживали.

Нельзя не упомянуть еще о наших отношениях к так называемым почетным блюстителям по хозяйственной части и к церковным старостам семинарской церкви. Из всех «блюстителей», в общем появлявшихся на семинарском горизонте только в годовые семинарские праздники, да изредка в правлении, мы, в частности и аз многогрешный, допустили в свою среду только одного — пресловутого Дудышкина. Где-то и по какому-то случаю его откопал наш ректор Анастасий и провел его на свободное место «блюстителя», за которое тот ухватился обеими руками, как даввшее ему известное положение в обществе: сам он ни в какой службе не состоял и имел чин, кажется, коллежского регистратора, хотя почему-то именовал себя действительным с<татским> советником и не противоречил, когда митрополит Владимир обращался к нему со словами: «Здравствуйте, ваше превосходительство!» Дудышкин был из породы чистейших аферистов и нагрязнул в семинарию, как настоящий Хлестаков. Он, во-первых, обещал Анастасию делать пожертвования на воспитанников и неведомо как достал для них рояль из магазина (после оказалось, что рояль была взята Дудышкиным «для семинарии», которая через год и получила «счет» для уплаты за эту рояль). Затем он стал звать к себе некоторых и более «почтенных» преподавателей (и меня в том числе) к себе «на обеды», как равно и сам бывал у нас, не отказываясь от угощения. Он разводил турусы на колесах о своих знакомствах среди высших правительственных сфер, где будто бы — так, по крайней мере, повествовал он нам — его уважали и принимали как щедрого благотворителя, ожидая от него «пожертвований» на разные благотворительные учреждения. Он «с шиком» подъезжал, бывало, к семинарскому подъезду в «своей» карете с гербами и являлся в праздники в семинарскую церковь, а потом заходил и в нашу учительскую сборную, чтобы рассказать какие-нибудь новости из жизни высшего круга Москвы. Словом, Василий Геннадьевич — так его звали — «обошел» нас совсем, и мы смотрели на него как на настоящего «генерала», хотя впоследствии

оказалось, что он был «генерал с другой стороны». По его словам, он даже представлялся царю как «попечитель Московской семинарии», и царь будто бы обращался к нему с вопросом, все ли благополучно во «вверенной ему семинарии», очевидно, считая блюстителя по хозяйственной части чем-то вроде попечителя учебного округа. В начале войны Дудышкин даже открыл в половине своей квартиры лазарет для раненых, на который собирал также пожертвования среди людей состоятельных. У него бывали на обедах редактор «Московских ведомостей» Грингмут, известный своею борьбой с еврейством прис<ажный> поверенный Шмаков, начальник канцелярии ген<ерал>-губернатора Рафальский и некоторые другие защитники монархизма, которых всех он «обошел» так же, как и нас, людей далеких от политики. Как Михаил Васильевич Кречинский, он постоянно говорил о «своих» имениях в разных губерниях, откуда будто бы ему доставлялись гуси и утки, которыми он угощал нас за обедом и которые впоследствии оказались взятыми в Охотном ряду в благодарность за хлопоты, принимавшиеся на себя Дудышкиным по освобождению сыновей некоторых богатых охотнорядцев от воинской повинности. На этом деле, помнится, Дудышкин и сломил себе шею: он попал под суд, где и вскрылись все его махинации, и память его «погибла с шумом».

Из старост церковных наиболее близок был к нам богатый мануфактурист Н. А. Балин. В его роскошном доме на 3-й Мещанской мы как-то обедали по случаю семинарского церковного праздника, и сам он также бывал на обедах, устраивавшихся нами тоже по случаю разных торжеств в квартире ректора. Впрочем, в политических взглядах большинство из нас не сходилось с ним: он как капиталист даже упрекал нас, напр<имер>, за то, что мы участвовали в так называемых чтениях для рабочих, так как-де мы этими чтениями давали рабочим возможность «организоваться», чтобы потом выступать сплоченною массой против своих работодателей-фабрикантов. Помню еще, как посрамил его преподаватель Зверев, когда Балин — это

было во время забастовки — сказал, что он думает уехать за границу, в Алжир. «Как же вам не стыдно! — зыкнул на него Зверев. — Тут начинается такая заваруха, а вы бежите, спасаетесь в Алжир, тогда как вам следовало бы вступить в переговоры с рабочими и постараться уладить свои дела с ними...» Балину это нравоучение, по-видимому, очень не понравилось, и он поспешил ретироваться под крылышко отца ректора, с которым и завел душещепательную беседу...

Доселе о преподавателях. Теперь пора сказать и об учениках семинарии за время моего преподавательства, т. е. с 1884 до 1918 года. Много прошло пред моими глазами разных поколений семинаристов, и многих из последних, конечно, мне приходилось знать близко, хотя, конечно, я не мог бы говорить о них так обстоятельно, как говорил о воспитанниках семинарии того времени, когда я сам обучался в семинарии. Ведь семинария наша была очень большая — в ней было около 600 учащихся, и очень понятно поэтому, что мои сведения о жизни семинаристов не могли быть основаны на непосредственном изучении их жизни, а основывались более на тех данных, какие выявлялись у нас на собраниях педагогического правления или в беседах с инспекцией, которая по своему положению должна была знать об учениках многое такое, что нам было недоступно. Обязанности «воспитателей», возложенные на нас незадолго до революции, сведены были у нас почти исключительно к «дежурству» на вечерних занятиях учеников и к выставке баллов по успехам в общую табель: какие-либо близкие отношения с учениками порученных нам групп у нас не устанавливались, хотя, впрочем, к этому некоторыми из нас и делались попытки. Однако все же я могу дать некоторое представление и о воспитанниках семинарии последнего периода.

Особенностью последнего тридцатилетия жизни семинарий вообще было значительно приподнятое настроение учеников по поводу запрещения им поступать без аттестата зрелости в университет. Нашу семинарию также коснулось

это движение недовольства, которое еще усиливалось теми строгостями воспитательного режима, какие начались со времени возвращения на ректорство монашеского элемента. Длинные и утомительные церковные службы, разные прибавки к утренним и вечерним молитвам, запрет на всякие сторонние развлечения помимо семинарских «вечеров», а также и особый полицейский «сыск», какой введен был в отношении к учащимся двумя последними инспекторами — Скворцовым и Ястребцовым, — все это волновало семинаристов, и это волнение в них постоянно поддерживалось получавшимися из провинциальных семинарий разными «воззваниями» Союза учащихся. В 1905 г. это недовольство вылилось в форму настоящего открытого протеста против существовавшего в семинариях «режима»: мы все, с ректором Анастасием, были приглашены делегатами воспитанников в актовую залу семинарии, и здесь подана была нам ученическая «петиция» для доставления ее куда следует с объявлением, что все воспитанники прекращают занятия до тех пор, пока требования не будут удовлетворены. Месяца два прошло после этого до того, как семинария снова начала, благодаря принятым мерам, функционировать. Кое-кто из руководителей забастовки пострадал, но в общем все дело обошлось довольно мирно, без всяких эксцессов со стороны забастовщиков, и наши отношения с учениками несколько не ухудшились, потому что ученики не могли не понять, что не в нашей власти удовлетворить их требования, хотя бы последним мы и сочувствовали (в отношении к большинству преподавателей можно определенно даже сказать, что они сами понимали нелепость установившегося в семинарии режима).

Другой случай протеста был уже в ректорство Феодора и вызван был упомянутым выше самоубийством одного ученика. Тут шуму было больше, и отношения между начальством и воспитанниками обострились очень заметно (взрывы пачки в коридоре как проявление протеста против строгостей Феодора), но все-таки и на этот раз забастовка

была недолговременной, и жизнь семинарии снова потекла обычным порядком.

Кроме таких коллективных выступлений некоторые воспитанники индивидуально принимали участие в общественных движениях разного порядка. Так, однажды мы узнали, что жандармы побывали как-то вечером в семинарии, произвели обыск в ящиках воспитанников и у одного из них нашли воззвания «Крестьянского союза», которые он получил для распространения, вероятно, в деревне. Другой раз инспекция отыскивала среди воспитанников 3-го класса члена «общества безбожников», которое основалось в Вифанской семинарии, откуда и перешел в нашу семинарию упомянутый воспитанник. Помню, как он явился по вызову правления на «суд» преподавателей и робко отвечал на задававшиеся ему вопросы, явно сам не имея достаточного сознания о таком явлении, как безбожие. Кажется, что он был просто увлечен какими-либо старшими его учениками, и ему льстило быть на уровне с ними, что и учтено было правлением, которое, не подвергнув его исключению, отдало его под надзор одного из преподавателей, который должен был внушить ему совсем противоположные безбожью мысли и направить на истинный путь.

Затем следует указать, что и в этот период среди воспитанников семинарии имели место те же проступки, какие совершались и воспитанниками раннейшей поры: манкировка уроками, прикладывание к рюмочке, насмешки над некоторыми преподавателями, действие «скопом» в случаях получения недоброкачественного масла к каше или других несвежих продуктов (атака квартиры эконома, которого ученики в этих случаях требовали на расправу), порча митрополичьих портретов в зале (выкалывание глаз) и т. о. м. <одобное>. В общем же ученики держали себя корректно и слушались начальников и преподавателей, не позволяя себе каких-либо открытых проявлений недовольства. Учились также они неплохо, и некоторым удавалось даже из семинарии поступить в Юрьевский и Варшавский университеты, откуда вышло немало москвичей-семинари-

стов с званиями лекаря, юриста и преподавателя. Некоторые окончили курс в Нежинском лицее, а иные в Демидовском, а прочие — лучшие — попали в Духовную академию или — средние — в сельские священники, где кое-кто из них стал заниматься рациональным хозяйством или же изучением местных климатических условий, становясь членами-корреспондентами разных научных учреждений и обществ*.

Между собою воспитанники жили дружно, и эта дружба поддерживалась между ними долгие годы и по выходе их из семинарии, что сказывалось особенно в празднованиях, устраивавшихся воспитанниками разных курсов, 25-летия со времени выхода их из семинарии. Они обыкновенно приглашали на свой товарищеский праздник и нас, своих старых преподавателей, и мы принимали участие вместе с ними в общей фотографической съемке, которая происходила в семинарском саду, и в общей братской трапезе, устраивавшейся у кого-либо из московских батюшек, имевших поместительные квартиры. Тут слышались их теплые речи о времени своего обучения в семинарии, читались приветствия от далеких товарищей и вообще время проводилось с большою приятностью; что прямо мне бросалось в глаза — это уважение и любовь сотрапезников к своей *alma mater****, какого часто не обнаруживали питомцы светской школы. Я помню, как однажды поразил меня некий доктор Субботин, с которым я встречался у своего шурина, тоже доктора. Этот, по-видимому, очень серьезный и рассудительный человек, когда я спросил его, был ли он на 50-летнем юбилее своей (5-й) гимназии, в которой он обучался, с какой-то злобой сказал мне: «Я ничего, кроме ненависти, к своей гимназии не питаю!» Таких отзывов о нашей семинарии мне никогда не приходилось слышать от

* И в настоящее время есть в Москве несколько врачей, бывших воспитанников Московской семинарии.

** Букв.: «питающая мать» (*лат.*); традиционное название питомцами своего учебного заведения.

бывших наших воспитанников. Единственное исключение в этом отношении представляют себе «Очерки бурсы» С. М. Беляева, который в этом своем подражательном «Бурсе» Помяловского сочинении пустил довольно сильную «мараль» (московское простонародное выражение) на семинарию, в которой он учился, и я должен сказать, что краски в палитре нашего бытового живописца слишком сгущены и нравы учеников, а равно и характеры учащих, представлены в далеко не соответствующем действительности окarikатуренном виде.

Нельзя не сказать еще о том, что внешняя обстановка жизни наших воспитанников значительно улучшилась по сравнению с тою, какая она была в 70-х годах, когда я учился в семинарии. Благодаря заботливости митрополита Иоанникия, здание семинарии расширилось пристройкой нового корпуса, предназначавшегося собственно для «общежития» семинаристов, но на самом деле вошедшего в состав общесеминарских помещений и заключавшего в себе — в нижнем этаже — огромную столовую на четыреста человек и — в верхнем — фундаментальную библиотеку, несколько спален и квартиры для двух помощников инспектора. В семинарии после выстройки этого корпуса стало очень просторно, и ученикам было где проводить свободное от занятий время — они избрали для этого столовую, которая почти все время была открыта; здесь они устраивали и сходки. Довольно рано для вечерних занятий появились в занятых комнатах лампы-молнии, дававшие возможность заниматься не напрягая глаз, а потом незадолго до войны в семинарские помещения было проведено и электричество. Комнаты содержались в чистоте и порядке, и только сами воспитанники иногда слишком грязнили свои помещения, с чем начальство старалось всячески бороться. Одевали воспитанников прилично — давали и теплую одежду — и не мешали им прибавлять к казенным суммам, шедшим на одежду, свои деньжонки, когда им хотелось сделать себе кое-что из одежды пощеголеватее. Стол был также в общем хороший, — конечно, относитель-

но, потому что на сто рублей в год, отпускавшихся на все содержание воспитанника, многого было сделать нельзя. Бывали, правда, случаи, когда попадалось несколько прогорклое или отдававшее салом коровье масло к каше, но в этом были повинны поставщики, с которыми трудно было что-нибудь сделать. Когда я был членом хозяйственного правления, то мне пришлось раз в целях выяснения причин оказавшейся недоброкачества коровьего масла отправиться к самому крупному поставщику масла Бландову, у которого забирала масло и семинария, и тот поводил меня по своим огромным складам в Гостином дворе, где стояли целые сотни огромных бочек с маслом, показывая условия его хранения и выясняя, когда и отчего масло портится. Из его объяснений получалось у меня такое представление, что виною порчи масла являлось совсем не неправильное содержание его в московских складах, а нехорошая погрузка его еще в далекой Сибири, откуда оно доставлялось в Москву. Конечно, впрочем, я потребовал немедленно переменить масло, и мое требование поставщиком было исполнено, что и успокоило воспитанников...

Немало забот прилагалось педагогическим составом и к улучшению культурного состояния воспитанников. В этот период была уже в семинарии очень большая специальная учительская библиотека, где имелись все лучшие произведения литературы как беллетристической, так и по разным научным дисциплинам. Помощником инспектора И. В. Троицкий, вступивший в обязанности библиотекаря ученической библиотеки еще в 1873 г. и пробывший в этой должности до самого выхода своего на пенсию в 1900-х годах, очень много заботился о пополнении библиотеки новыми книгами, которые приобретались главным образом на ежегодные взносы самих воспитанников. Конечно, последние пользовались из своей библиотеки главным образом беллетристикой, но и научный отдел библиотеки в сезон писания сочинений не оставался без внимания, и подходящие к теме книги брались нарасхват. Мы пробовали ввести некоторую систему в дело чтения книг и пред-

лагали воспитанникам ряд сочинений, с какими им, по нашему мнению, следовало основательно познакомиться, но это дело как-то не пошло: и нам было некогда читать их рефераты о прочитанных книгах, и их не особенно интересовало составление таких рефератов.

Музыка — собственно скрипичная игра и фортепиано — давно уже привлекала к себе внимание воспитанников, для которых были приглашены и учителя. Но широко было поставлено дело музыкального образования только при Клименте, которому очень хотелось блеснуть пред начальством своим умением организовать семинарский оркестр, чего он и достиг, накупив на пожертвованные деньги полный комплект инструментов для духового оркестра и раздав их желавшим обучаться. Образовался довольно порядочный оркестр человек в 40, который очень громко, хотя иногда и не совсем музыкально, исполнял на семинарских вечерах разные марши, вальсы, менуэты и тому подобно произведения, не особенно трудные для исполнения. Слушали эту музыку главным образом преподаватели со своими семействами да кое-кто из родственников исполнителей, а раз даже Климент пригласил на утренний концерт из Страстного монастыря игуменью со всем ее монастырским хором, и было удивительно смотреть, как мерно, под звуки марша «Под двуглавым орлом», вступали в залу одна за другой целые десятки молодых монахинь и как они рассаживались на отведенных им местах. «Что это — невест, что ли, Климент привез показывать семинаристам? — сказал по этому поводу один наш остряк-преподаватель. — Того и гляди, семинаристы их на вальс пригласят». Но оркестр вскоре после Климента распался, инструменты частью пропали, частью были испорчены, и обучение на оставшихся инструментах велось только индивидуально. Вместо духового, перед войной организованной небольшой струнный оркестр, который и выступал на семинарских вечерах.

Ректор Трифон, любитель ораторского искусства, подал мысль о необходимости обучать таковому и семинари-

стов. После него идея эта нашла осуществление: при Анастасии был приглашен для обучения декламации старших воспитанников артист Малого театра А. И. Южин, но он ограничился только данными им двумя уроками и поставил вместо себя молодого артиста того же театра Ухова, который в течение двух лет и обучал воспитанников 6-го класса декламации*.

Рисование преподавалось «желающим». Сначала учителем рисования был художник Астапов, а после его смерти академик живописи С. Д. Милорадович, сам вышедший из нашей семинарии и бывший преподавателем Училища живописи и ваяния. Обучалось живописи немного учеников, но некоторые из них поступили по выходе из семинарии в Училище живописи и ваяния и кончили там курс — со «средним» успехом. «Настоящих» художников из них не вышло...

Вообще нужно признать, что в течение времени с половины 80-х годов и до революции московские семинаристы проявляли гораздо более сознательности, чем их предшественники, и были более культурными, чем последние. Лучшие и более способные из них уже не убегали из 4-го класса в университет, как это наблюдалось ранее, а оканчивали полный курс семинарии и отсюда уже шли или в Духовную академию, или в те университеты, куда окончившим курс воспитанникам семинарии <путь> был еще открыт.

* Быть может, под влиянием этих уроков у некоторых учеников проявилось стремление к выступлениям на сцене театров, и несколько человек из окончивших курс семинарии в последние годы пред революцией поступили на сцену Художественного театра, где и продолжают с успехом работать в ответственных ролях. Таковы Добронравов, Кудрявцев и Кедров. Кроме того, во 2-м МХТ работал также воспитанник нашей семинарии Ключарев.

Из главы VII «О наиболее важных событиях в жизни Москвы»

с. 217-218

Во время самой перестрелки между рабочими и солдатами в революционные дни 1905 г. я, конечно, не выходил за ворота семинарии и только иногда, подходя к самым воротам, видел несколько стоявших за углами домов дружинников, с револьверами в руках, посылавших свои пули по направлению наступающих отрядов солдат и потом, при приближении последних, быстро скрывавшихся в ворота ближайших домов, преимущественно в т<ак> н<азываемые> проходные дворы, к каким принадлежал и семинарский двор, имевший кроме главного выхода на Садовую еще другой выход — на Щемилровку, к типографии Кушнерева. К последнему выходу иногда прибегали дружинники с требованием не запирайте его, чтобы иметь здесь возможность спастись от ожидавшегося преследования со стороны солдат, какого, однако, ни разу не произошло: в семинарию солдаты не заходили. Видел я раз, будучи у одного знакомого, жившего на Самотечной площади, как вооруженный винтовками отряд городских разрушал сделанные дружинниками по Садовой до Каретного ряда баррикады. Городовые становились перед баррикадой в ряд, одним коленом на землю, и начинали палить вдоль по улице, очевидно, для того чтобы разогнать выстрелами дружинников, которые находились в конце Каретной-Садовой и могли помешать пальбой из револьверов разборке баррикады. Так, обстрелявши улицу, городовые растаскивали телеграфные столбы и другие материалы, обыкновенно употреблявшиеся для устройства баррикад, и потом поднимались дальше по улице к следующей баррикаде, чтобы разобрать и ее. На углах домов по Лихову пер<еулку> долго видны были язвины, произведенные полицейскими пулями, но из дружинников, кажется, от

такой стрельбы не пострадал никто. Слышал я также ежедневную пальбу картечью по Пименовской улице, а некоторые залпы попадали на нашу территорию, и пули сыпались на крышу нашего дома, производя довольно неприятный стук о железо. Здесь обстрел направлен был, главным образом, на кушнеревскую типографию, где часто бывали собрания революционеров. В конце концов к этой картечной пальбе мы привыкли, и она мне не мешала спать после обеда (пальба обычно начиналась часу в третьем дня). Когда перестрелка стихала, мы осмеливались выходить на ближайшие улицы за покупками — лавки в некоторые более спокойные часы дня были открыты и закрывались только с началом пальбы. Плохо приходилось тем гражданам, которые жили по улице против семинарии: пули частенько залетали к ним в окна, и они принуждены были во время стрельбы прятаться под кровати. Поэтому несколько семейств, живших в этил домах, принуждены были искать убежища у нас, в семинарии, куда и были допущены ректором без всякого препятствия: им был отведен нижний этаж семинарии, где было большое помещение образцовой школы и несколько классных комнат, которые были свободны, так как ученики семинарии, после объявленной ими забастовки, были распущены по домам. Я помню, что в образцовой школе жил с своей семьей покойный артист Малого театра Рыжов, в других комнатах — другие обыватели, имевшие несчастье до того времени обитать в домах, находившихся под обстрелом.

с. 220-221

Революция 1917 (февраль) застала нас совершенно врасплох. Никто из моих сотоварищей и знакомых не ожидал, что общее недовольство и войной, и крайним вздорожанием съестных припасов выразиться в такой резкой форме, и монархия казалась нам еще стоявшей довольно твердо. Тем не менее большинство из нас, да и вообще из москвичей, встретили отречение царя и последовавшее за тем вступление в управление государством Временного правительства с большим воодушевлением. В частности, наша семинарская корпорация почти единогласно приняла мое предложение, как старейшего преподавателя, послать Временному правительству в лице обер-прокурора Синода Львова приветственную телеграмму, а также мое приглашение — основать Союз педагогических корпораций разных учебных заведений Московской епархии и переселившихся в Московскую епархию духовно-учебных корпораций Западного края, захваченного немцами, — было принято почти всеми членами семинарской корпорации, за исключением инспектора, да еще преподавателя Варжанского, имевшего такую печальную судьбу впоследствии; к нам вскоре примкнули все московские и уездные духовно-учебные заведения, и союз был основан, я же был выбран председателем союза и оставался в этой должности до самого его закрытия в 1918 году. Союз имел несколько общих собраний в зале семинарии, кое-что сделал для улучшения положения служащих в духовно-учебных заведениях, но, конечно, за краткое время своего существования им сделано было немного. По крайней мере, я в 1918 г. успел провести самое важное решение союза о передаче нашей семинарии в ведение Нар<одного> комиссариата по просвещению, против чего в нашей корпорации некоторые, а именно начальствующие лица, восставали. Так как я, состоя еще на службе в семинарии, поступил в то же время на работу в канцелярию Н<ародного> к<оммиссариата> просвещения и был давно уже знаком с заведовавшим финансовым отделом Комиссариата проф<ессором> В. Н. Сторожевым, то мне удалось довольно скоро поре-

шить с вопросом о содержании преподавателей нашей семинарии и получить из Н<ародного> к<оммисариата> просвещения соответствующие ассигнования. Таким образом, семинария превратилась сначала в 12-ю гимназию, а потом соединилась с трудовой школой, образовавшейся из гимназии Ржевской, и дело это обошлось без всяких учительских забастовок, какие между тем имели место в светских учебных заведениях в начале Октябрьской революции.

с. 222

Нас, семинарских преподавателей, февральская революция ничем не затронула, но с пришествием Октябрьской революции мы потерпели большое лишение — именно отнятие у нас квартир, которые были отданы служащим при 3-м Доме Советов (это бывшее 3-этажное здание семинарии), вследствие чего мы вынуждены были очистить свои гнезда и искать приюта где угодно.

с. 226

Особенно<го> патриотического подъема в эту войну мне нигде почти наблюдать не приходилось. Правда, из наших 600 семинаристов несколько человек вызвались идти на войну, но в общем москвичи, кажется, более заботились о том, как бы устроиться «в тылу», не подвергая опасности свою жизнь. Проезжая <на> трамвае, я иногда вслушивался в разговоры своих соседей «призывного возраста», и эти разговоры (конечно, о войне) были такого рода, что можно было понять легко, как неприятна была москвичам одна мысль о том, что они могут попасть на фронт. Помню, как в трамвае один молодой, сытый и хорошо одетый купец или приказчик в разговоре с своим спутником заявлял открыто, что он, как только попадет на фронт, тотчас же при столкновении с неприятелем сдастся в плен. Когда к нам в семинарскую больницу привезли с фронта первых раненых солдат, то я увидел, что у многих ранены были пальцы на руках, что, как объяснили мне опытные люди, было уловкой самих солдатиков, простреливавших себе пальцы, чтобы быть эвакуированными с фронта в тыл.

Богатые москвичи также не проявляли особой щедрости в деле устройства лазаретов для раненых и в облегчении сколько-нибудь наступившего в Москве продовольственного кризиса.

с. 229

Через Москву проходило на фронт много войска, причем солдаты пели большею частью грустную песню «Чубарики» и шли даже без оркестров музыки, которые, по видимому, почти все были отправлены в фронтную полосу для поднятия бодрости в боях. У нас в семинарском саду останавливалось в летние месяцы несколько «дружин», образованных из людей пожилых, с большими бородами. Кто из них располагался спать в саду, возле лошадей и повозок, кто валялся на каменном полу обширной семинарской столовой, где, кажется, солдаты обедали и пили чай. Лица у солдат, как я заметил, были всегда мрачные, безрадостные, конечно, потому, что они оставили в деревнях жен и детей, чтобы идти на верный почти «убой», идти неведомо куда и неведомо зачем: смысла войны с немцами простой народ, конечно, был понять не в состоянии, а все усилия наших шовинистов натравить простой народ на немцев не достигали цели, потому что все простые люди не понимали, за что мы с немцами подрались.

с. 233

О Толстом мне рассказывал мой учитель, а потом сослуживец по семинарии М. В. Никольский, что граф несколько раз бывал у него в казенном деревянном домике на Божедомке и учился у него еврейскому языку (Никольский был в то время приват-доцентом в Московском университете по еврейскому и санскритскому языку). Толстой приезжал к нему зимой на санках, причем сам правил лошадей, и после урока раза два катал Никольского по Москве.

Из главы VIII
«О важных особах, которых я
видел в Москве или о которых
в нашей среде шли разговоры»

с. 261-262

Видел я также, еще ранее, чем Петрова, другого приезжего петербуржца о<тца> Иоанна Кронштадтского, представлявшего собою совершенного черносотенца в рясе. Он был приглашен в семинарию ректором архим<андритом> Климентом служить обедню и действительно отслужил таковую со всеми усвоенными им приемами вдохновенного молитвенника, с громкими восклицаниями, вздыханиями и воздеванием рук к небу во время т<ак> называемых тайнодейственных молитв, — словом, употреблял все меры к тому, чтобы возбудить в молящихся религиозный энтузиазм. Толпа богомольцев, собравшаяся в церкви, действительно была в достаточной степени наэлектризована священнодействием о<тца> Иоанна и теснилась вокруг него по окончании обедни в такой степени, что выдала даже стекла в выходных дверях, которыми из церкви должен был выходить о<тец> Иоанн, благословлявший толпу направо и налево и на головы некоторых возлагавший свои руки. Но нам, преподавателям, довольно уже искушенным в деле «различения духов», служение о<тца> Иоанна показалось слишком деланным, искусственным, так что чувствовалось в душе какое-то недовольство его выступлением в скромной семинарской церкви, где в обычное время совсем не пахло духом какого-либо мистицизма во вкусе о<тца> Иоанна. Последний, будучи у ректора на закуске, почувствовал, очевидно, что мы довольно холодно относимся к его манере священнодействовать и обращаться с толпою богомольцев, и потому, как бы в свое оправдание, начал рассказывать нам о том, как хорошо его принимает народ, как, благодаря ему, поднимается религиозное настроение у простых людей, и даже указал при этом на некоторые случаи бывших по его молитвам исцелений, но все это опять-таки

плохо нами воспринималось, и один из старейших преподавателей, как бы выражая наше общее настроение, перебил рассказчика словами: «Ну, о<тец> Иоанн, давайте-ка лучше чокнемся рябиновой». Это предложение, очевидно, выяснило о<тцу> Иоанну, как следует ему держаться в нашей среде, и он прекратил свои повествования о своих «подвигах» и вступил с нами в «общежитейские» разговоры. Впрочем, некоторые болящие семинарские дамы после завтрака повергались к стопам о<тца> Иоанна, испрашивая его молитв за них, и тот благосклонно отнесся к их просьбам, возлагая на головы болящих свои руки...